

# БЕЗ ВЫМЫСЛА

Анна Кирьянова

## Дядя Ваня Череп и другие

### Дядя Ваня Череп

У меня было много игрушек. Плюшевый медвежонок, две гэдээровские куклы, пупс в заливчатской кепке с каким-то уголовным подтекстом (когда-то у него в руках была еще и приклеенная гармоника, которую я с отвращением оторвала). У пупса были удивительно кривые ноги, непонятно, как бы он смог на них ходить, да еще наяривая на трехрядке. Были игрушечные собачки. Была огромная советская кукла, некрасивая и нелепая; стоило ее положить, как она с громким стуком смеживала пластмассовые ресницы: «Клац». В конце концов ресницы ей я отрезала, пользуясь мамиными маникюрными ножницами. Раскаяние, которое я потом испытала, было ужасным: я рыдала и плакала так, что у меня затряслась голова. Предприимчивая мама принесла мне бутылочку папиной жидкости для ращения волос — уже тогда папа стремительно лысел. На бутылочке была этикетка: лысый человек поливает голову этой волшебной жидкостью. Почему человек оставался лысым — до сих пор неясно: то ли жидкость не помогала, на что намекали производители, то ли он только начал оздоровительные процедуры. Мама предложила мне регулярно мазать куклины укороченные ресницы папиной жидкостью — и тогда они вырастут снова. Я с сомнением рассматривала папину лысину, но ресницы мазала регулярно. Мне казалось, что они немного удлиняются.

О куклах я очень заботилась. Они были тепло одеты, подпоясаны бинтиками, которые в доме водились в избытке — родители были врачами, каждый день кукол ждал вкусный обед, приготовленный в кастрюльках из набора «Маленькая хозяйка». Но с самого раннего детства был у меня задушевный друг, самая любимая игрушка — череп. Самый обычный человеческий череп с нижней челюстью на пружинке. Его звали Дядя Ваня Череп. Папа принес его из института, где тогда преподавал. Кормить Дядю Ваню было одно удовольствие — у него ведь открывался зубастый рот: ам — и скушал кашку! А чтобы ему не надуло в ушки, я надевала на него мою шапочку типа конькобежной, с мысиком на лбу. Ушек у Дядя Вани не было, только дырочки, но я все равно очень заботилась о своем любимце. А спал он со мной, в моей кровати, ласково поглядывая на меня зияющими глазницами. Как крошечный Гамлет в пижаме, я прижимала к себе своего единственного друга:

— Спи, Дядя Ваня Череп, спи. Баю-бай, баю-бай.

---

**Анна Кирьянова** — родилась в Свердловске. Окончила философский факультет Уральского государственного университета им. А.М. Горького. Член Союза писателей России. Автор нескольких книг прозы и поэзии, романа «Охота Сорни-Най». Рассказы и стихи публиковались в журналах «Урал», «Уральский следопыт», альманахах и сборниках, в том числе в антологии Макса Фрая, отдельным сборником стихи издавались «ЮНЕСКО». В течение 25 лет работает частнопрактикующим психологом. Вела авторские психологические программы на телеканалах «АТН», «ОблТВ», «4 канал», «АСВ», «41 канал» и др.

## Ограбление негра

Мы с папой гуляли в Екатерининском парке в Царском Селе. Мы приехали в гости к папиным родителям. Было прекрасно: тенистые аллеи, пруды, статуи всяких греческих и римских богов. Лазурный дворец и атланты с кариатидами. К атлантам отношение у меня всегда было особое: напившись с друзьями-наркологами, папа играл на гитаре и со значением пел:

Атланты держат небо  
На каменных плечах...  
...И трудная работа,  
Трудней других работ,  
Из них устанет кто-то —  
И небо упадет!

Я твердо знала, что один из атлантов — мой папа. Недаром же он поет с таким смыслом, с таким тайным значением, изредка подмигивая мне... Я восхищалась папой. У меня был специальный альбом для рисования, наполненный папиными портретами. «Папа ест» — круглоголовый гигант в круглых, похожих на велосипед очках насадил что-то подозрительное на вилы, а перед ним еще целое блюдо чего-то не менее подозрительного, шевелящегося... «Папа спит» — на кровати спит великан все в тех же очках, в окошке светит месяц — ночь. «Папа катаеца на лошади» — ни на какой лошади папа сроду не катался, но на картине микроскопическая козявка изображала боевого коня.

И вот мы с папой — о, счастье! — гуляем по парку, папа мне рассказывает про лицей, про царей, предлагает взять лодку и поплавать. На папе красивые кримпленовые брюки и белая рубашка. И очки. Лысину он аккуратно вытирает белоснежным платочком. Мы дошли до паромной переправы и оказались в довольно уединенной части парка, под древними тенистыми липами и дубами. Они были еще при Пушкине. Навстречу нам вышел негр. Настоящий, черный. В Свердловске негров вообще не было, в Ленинграде они тоже встречались исключительно редко. Я читала про негров — читать я научилась в три года. Ужасный роман Бичер-Стоу про дядю Тома и еще рассказ из букваря про красные башмачки, которые злосчастный негр хотел купить своей дочери. Негров мучили, угнетали, подвергали всяким унижениям. Еще про негров рассказывал папа, когда я болела и не хотела пить отвратительное пойло из горячего молока, соды и меда. «А в это время, — мрачно говорил мой воспитатель и наставник, — на помойке в Соединенных Штатах сидит маленький ободранный негритенок, страшно голодный. С каким наслаждением выпил бы он это! — папа указывал на голубенькую кружечку. — Он бы схватил эту кружечку и пил бы, причмокивая, в то время когда ты нос воротить!» Ужасное видение истощенного негритенка в лохмотьях, сидящего на капиталистической помойке, вызывало у меня приступ раскаяния, и я выпивала зелье до дна...

Теперь я понимаю, что никакой логики в папиных педагогических методах не было: при чем тут негритенок, ведь пойло и так не досталось бы ему? Но выпивала, да.

Негр подошел к нам и стал что-то говорить на иностранном языке. Он протягивал папе блокнот и ручку. Наверное, хотел, чтобы папа нарисовал ему маршрут — как, мол, пройти в лицей? Я во все глаза разглядывала черномазого страдальца. Папа взял у негра блокнот и ручку. Ручка была восхитительная — как сейчас их называют, «мокрый шарик». В те годы и жуткие, скрипящие при рисовании фломастеры «Союз» были предметом зависти всех детей во дворе. Ручка блестела на солнце. Папа внимательно посмотрел на негра сквозь очки, повернулся и пошел. В руках у него оставались блокнот и ручка.

— Итц май пен! — робко, а затем все громче завел негр. — Итц май пен!

Папа обернулся и довольно сильно толкнул негра в грудь.

— Что с воза упало, то пропало! — сурово произнес он. — Пойдем, доча!

Я засемила за папой, оглядываясь на ошарашенного и напуганного негра. Мы еще погуляли, покатались на лодке и пришли домой. В тот же вечер я каракулями писала маме письмо: «Дорогая мама. У нас все хорошо. Я скучаю по тебе. Мы гуляли в парке. Папа подарил мне ручку. Эту ручку папа отобрал у негра. Она хорошо пишет». Папа покушал и спал. В окошко светил месяц, в точности как на моей картинке.

## Интервью

Недавно у меня брали интервью. Девочка-журналистка хотела, чтобы я рассказала о своей семье, о корнях, о предках. Я долго рассказывала всякие интересные истории. Девочка раздражилась: «Почему вы в конце каждой фразы все время спрашиваете: «Вы понимаете, о чем я говорю?» Конечно, я понимаю!» Мне стало совестно. Не надо считать других людей глупее себя.

Я рассказала, что у нас в семье очень любили животных. У нас жили кошки, собаки, голуби, хомячки, а у дяди Бори, дедушкиного брата, известного журналиста, дома жила нутрия. Эта нутрия была очень умная. Она любила купаться в ванной, а когда ей надоедало, она зубками вынимала пробку, чтобы вода ушла! Вот такая это была умная нутрия.

Через неделю я прочитала свое интервью. Там было написано так: «Мой дядя Боря, известный журналист, очень любил купаться в ванной. А потом зубами вынимал пробку, чтобы вода ушла. Еще он разводил нутрий».

## Папа и евреи

У нас дома было много старинных и раритетных книг — родители много читали. Одна книжка называлась «Распутин и евреи» — воспоминания секретаря великого старца Арона Симановича. У папы с евреями сложились странные, амбивалентные отношения. Возможно, где-то далеко в корнях он и сам был частично евреем.

Папа работал психиатром-наркологом, поэтому в его окружении было много людей семитской национальности. Они уважали папу за ум и предприимчивость, дружили с ним и даже приходили к нам в гости. Когда приходили гости, мама надевала свой самый роскошный пеньюар, туфли с кружевом, делала прическу и накрывала стол белой скатертью. И готовила вкусные салаты и пирожные — она хорошо готовила, когда хотела, моя мама. Иногда гости приходили спонтанно, слегка навеселе, радостно сверкая очками. Вместе с папой.

— А это мой, с позволения сказать, коллега. Абрам Израилевич, — представлял папа очередного гостя-врача. Гость раскланивался, знакомился и никак не мог понять, почему глаза ребенка загорались людоедской радостью.

— Ура! Папинька жидя привел! — однажды радостно завопила я, предвкушая потеху. Захлопала в ладоши даже...

Впрочем, папина мама, Розалия Каэтановна, недалеко ушла от меня в вопросе выражения эмоций. Когда папа приводил друзей к ней в Царском Селе, она мрачно смотрела на папу бледно-голубыми глазами и хриплым громким голосом (она работала учительницей) вопрошала:

— Сынок, это жид? Он предаст тебя! — заканчивала она уже утвердительно и беспощадно.

Подвыпившие и благодушные гости не понимали знаков судьбы и доверчиво проходили в комнаты. Там они беседовали, пели под гитару, шутили и восхищались умом и гостеприимством моего отца. Но я-то видела, что папины очки уже переместились на кончик носа, а бледно-голубые глаза впились в гостя. Гости чокались медицинскими мензурками и цинично, по-врачебному стряхивали пепел в половинку черепа, которую мама привезла из спелеологической экспедиции. Глаза папы становились все светлее и светлее. Все выпивали и радовались.

Вдруг мой воспитатель громко и внятно требовал:

— А теперь пляши, жид!

Коллега Абрам Израилевич непонимающе смотрел на папу, а тот с петлюровской улыбкой приказывал, вертя в руках нож:

— Пляши, жид! Играй, доча, летку-енку!

Я-то знала, что спорить с папой бессмысленно. Садилась на вертящуюся табуретку и начинала колотить по клавишам: «Мишка с куклой громко топают, громко топают, раз-два-три! Мишка с куклой громко хлопают, громко хлопают, посмотри!» Играя бицепсами, папа отбивал ритм ножом. Лилась музыка, я была маленький тапер, а коллега, если он был поумнее, принимался делать какие-то нелепые телодвижения, напоминая танец. Отец был страшен, как дореформенный помещик-самодур. Я хохотала. Мне теперь очень стыдно и, наверное, будет стыдно всю жизнь, но я хохотала залиvistым детским смехом, глядя на антраша нашего злосчастливого гостя. Мне было пять лет.

Наутро папа страшно мучился похмельным раскаянием. Он немедленно находил своего коллегу-собутельника, приносил ему глубочайшие извинения, жал руку, уверял, что все это — последствия тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной им в детстве, и так называемое патологическое опьянение. Он был так мудр, трезв, убедителен, что примирение происходило немедленно. Абрам Израилевич с жаром пожимал протянутую руку и клялся, что, в сущности, ничего и не случилось. Как говорил мой друг уголовник Кияткин, мелкое дело. Дружба была восстановлена. Ее следовало скрепить, поэтому чаще всего очередной Абрам Израилевич снова появлялся у нас дома. Словно странная магнетическая сила влекла евреев к папе, а его — к ним. И снова, разыгрывая какой-нибудь этюд Черни, я громко, по-детски хохотала, глядя на комичные прыжки и реверансы очередного гостя, кандидата медицинских наук с мудреной, труднопроизносимой фамилией.

### Маленькая хозяйка

Однажды мне подарили набор почти настоящих, только маленьких, кастрюлек. Они были металлические, блестящие, с черными пластмассовыми ручками. Помещался набор в громадной картонной коробке с надписью «Маленькая хозяйка». Набор принес кто-то из папиных алкоголиков. Своих пациентов папа ласково и властно называл «мои алкоголики»; так добрый барин, наверное, говорил о крестьянах: «мои мужички»... Алкоголики сделали нашей семье много добра, а лично мне — подарили великолепный набор кастрюлек. От счастья у меня подкосились ноги.

Была ранняя весна. Снег осел и стал похож на засахарившийся мед. Он стал черным и грязным, кое-где появились проталины. Стало можно снять тяжеленную цигейковую шубку и надеть безобразную советскую курточку. Стало можно гулять налегке. Папа лежал на софе, мучаясь страшным похмельем. Он стонал, хватался за сердце и считал пульс. Рядом с ним на полу стоял зеленый чайник. Я мстительно играла гаммы — меня учили ненавистной музыке, так что в конце концов папа взмолился:

— Доча, иди погуляй! Мне очень плохо. Ты же любишь своего папу?

— Люблю... — мрачно ответила я. — Но Нелли Александровна задала еще два упражнения! Я буду тренироваться до самой ночи, чтобы получить пятерку!

В конце концов, я вспомнила о наборе, и душа моя осветилась радостью. Я оделась, взяла с собой самую большую кастрюльку и вышла во двор. Кастрюлька сверкала на солнце. И тут я испытала инсайт, озарение, как Якоб Беме, который познал Бога, увидев, как солнечный свет отражается в медном горшке... Я набрала полную кастрюльку грязного подтаявшего снега. Я нарвала с кривых веток яблони провисевших всю зиму яблочек. Я вернулась домой, подсыпала в кастрюльку сахару и поставила ее на газ. Этой весной я научилась зажигать газ. Я сварила компот.

Добавлю, что всю жизнь мой папа мучительно боялся инфекции и заразы. Он ошпаривал кипятком все фрукты, до семи лет я не знала, что яблоки бывают разноцветными. У нас дома они все были коричневыми. Бабушку Розу в коммунальной квартире прозвали «бациллой» за ее неумную страсть к чистоте и борьбу со зловредными микроорганизмами. В поездках папа протирает меня чистым медицинским спиртом. Есть на улице мороженое или пирожки не разрешалось. Слово «глисты» было одним из кошмаров моего детства. Упав на улице и разбив коленку, я дико вопила на весь двор: «В рану лезут микробы! Моя ножка сгниет! Теперь вместо ноги у меня будет палка!..»

На дне кастрюльки осела земля и грязь, компот остыл, и, торжественно неся кастрюльку на вытянутых руках, я зашла к папе в комнату.

— Хочешь компотику, папа?

— Хочу, ох, как я хочу компотику... — прохрипел пересохшими губами мой родитель, жадно схватил кастрюльку и выпил до дна... Ничего не заметил. Улыбнулся, устроился поудобнее.

— Ты моя маленькая хозяйка! — сказал он и вскоре безмятежно уснул. На дворе стояла весна тысяча девятьсот семьдесят пятого года.

### Младенцы в банках

Когда мы приезжали в Ленинград, то первым делом отправлялись в Зоологический музей или в Кунсткамеру. В Зоологическом музее папа первым делом вел меня в отдел паразитов, и мы долго разглядывали замаринованных глистов в длинных банках. Некоторые глисты просто поражали своими необыкновенными размерами: бледно-желтый солитер достигал двух с половиной метров! Самое страшное и поучительное было в том, что все эти плоские и круглые паразиты были извлечены из животов грязнуль, мальчиков и девочек. Эти мальчики и девочки ели на улице мороженое, не мыли руки перед едой и совершали, как пишут в милицейских протоколах, иные противоправные действия. Глисты коварно проникали в их организмы в виде маленьких яиц, а потом радостно развивались в благодатной среде, неуклонно увеличиваясь в размерах. Это мне рассказал мой папа. Потрясенная, я шла домой, держа папу за руку, размышляя о страшных загадках природы, об опасности окружающего мира. Но и дома, в Свердловске, папа находил способ еще раз прибегнуть к наглядному пособию — иногда в выходные мы посещали странный музей судебно-медицинской экспертизы. Мне было совсем мало лет, потому что я помню только небольшую сравнительно комнату, залитую тусклым, зеленоватым светом; на полках стояли огромные банки, а в банках, наклонив голову, скрючившись, сидели младенцы.

— Папа, а почему эти младенцы в банках? Почему они сюда попали? — тревожно спрашивала я, глядя снизу вверх на казавшегося гигантом атлантом папу. Первая мысль о смерти зародилась в моем сознании, и невроз начал свое медленное, но неуклонное развитие. — Почему этот младенец здесь? — я указывала дрожащим пальцем на крупного младенца с огромной головой.

— Улицу переходил на красный свет, — сурово, как прокурор, отвечал мой родитель.

— А он ходить еще не умел! — пробовала я сопротивляться, но папа был непоколебим:

— Ну, переползал. На красный свет. Да еще нагло так! Отец ему говорил — переходи только на зеленый! Куда там... Ползет, глаза вытарачил... Тут под машину и попал.

— А этот? — продолжала я спрашивать, указуя на очередного заспиртованного эмбриона. — Этот почему?

— Курил за верандой в садике, — кратко пояснял папа. — Ел невымытые яблоки грязными, обжаканными руками. Умер.

— А почему его сюда посадили? — продолжала я выпытывать страшную тайну, как любопытная жена Синея Бороды.



— Чтобы нормальные дети понимали, что можно делать, а что — нельзя. Если бы они слушали своего папу, ничего бы с ними не случилось, — пояснял отец. — Всегда надо слушать своего папу. Больше никого слушать не надо. Все остальные, особенно мама, ее родители и подруга тетя Нина, несут всякую хрень. Понимаешь?

— Хрень, — соглашалась я. — Понимаю.

Младенцы исподлобья, угрюмо глядели на меня, увещевая и поучая своим печальным примером. Так когда-то, веке в тринадцатом, родители из педагогических соображений водили своих детей поглядеть на виселицы. В петлях в назидание живым болтались полуразложившиеся трупы.

— Никогда не бери чужого, — наставлял средневековый родитель своего малолетнего отпрыска. — Не колдуй и не води дружбы с дьяволом. Видишь, что за это бывает?

Мне теперь сорок четыре года. Я никогда не ем мороженого на улице и перехожу дорогу только на зеленый сигнал светофора. И никого не слушаю, все действительно несут какую-то хрень.

### Салон моей мамы

Моя мама была очень красивой и изящной женщиной. Она хорошо играла на рояле, прекрасно знала поэзию Серебряного века, декламировала запрещенного Гумилева и рассказывала мне о трагических судьбах Мандельштама и Цветаевой. Часто к ней приходили гости, художники и поэты. Художники писали мамины портреты, а поэты читали свои стихи, как правило посвященные маме. В эти вечера мама надевала роскошный пеньюар, весь в пене кружев, на голову наматывала прозрачный газовый шарф, шею украшала очередным ожерельем, подаренным папой. Да, папа дарил маме драгоценности. Это было очень красиво, очень поэтично. После каждой драки, спровоцированной поэтичной, но очень меркантильной мамой, отец ехал в ювелирный магазин, директором которого был «его алкоголик», и привозил маме прекрасные вещи. Особенно запомнился мне перстень с огненным опалом в серебре старинной работы, который мама получила как компенсацию за небольшой синяк под глазом.

Мама играла на рояле и пела романсы. Наверное, она обладала голосом и слухом — оценить я не могла, так как и того и другого оказалась лишена напрочь. Мне больше всего нравились слова «И бледно-палевая роза дрожала на ее груди!..» От мамы пахло французскими духами «Кристиан Диор», в аккуратных ушах мерцали и сверкали бриллианты — еще одна компенсация. Поэты и художники аплодировали. Иногда для развлечения, как в древние времена, вызывали меня — так шуты увеселяли компанию пьяных средневековых баронов. Я декламировала стихи каких-то полузабытых поэтов типа Михайловского и Державина, которые мама заставляла меня учить. Еще я передразнивала Беллу Ахмадулину, заунывным, напевным голосом читая ее вирши. Все смеялись. Особенным успехом пользовалось стихотворение Аполлинера про мост Мирабо: «Под мостом Мирабо мерно плещется Сена и уносит любовь, лишь одно неизменно — вслед за горем веселье придет непременно!..»

Папа очень не любил визиты богемы. Он называл маминых друзей и поклонников интересным, но неприличным словом «п. . . .сы». Иногда он называл их так прямо в лицо. Одного известного ныне поэта папа спустил с лестницы. Папа занимался штангой и туризмом и был очень-очень сильным. Если папа вдруг приходил рано, гости начинали торопливо собираться, путая шапки и ботинки. Доодевались они уже в подъезде.

Впрочем, иногда мой родитель был благосклонен к гостям. Это случалось, когда он приходил в расстегнутом кожаном пальто, нерпичья кепка надета козырьком назад, а очки сползли ниже переносицы и слегка запотели. Папа усаживался в кресло и слушал мамины рулады. Иногда он тоже читал стихи, которые сочинил сам, прямо здесь, при гостях: «Наконец настало лето. Все хулиганы

без штиблетов»... Папины стихи нравились мне гораздо больше тех, что выл и выплакивал будущий известный поэт, с которым я не раз сталкивалась потом в Союзе писателей. Гости деланно смеялись и не смели уйти. Папа доставал чистый медицинский спирт, стеклянные мензурки, принесенные из мединститута, и разливал гостям. Все чокались и пили за здоровье мамы и папы. Мама элегантно брала мензурку наманикюренной рукой и тоже выпивала, еще более элегантно закусывая конфетой «Птичье молоко». Она беседовала о поэзии французских символистов, сравнивая Маллармэ с Верленом и декламируя «Пьяный корабль» Рембо. Дым плотными синими облаками заволакивал комнату — курили все, кроме меня. Папа доставал гитару и играл песню про атлантов, а поэты должны были хором подпевать, что они и делали, все более воодушевляясь. Тигр уже не казался им таким страшным. Голоса становились все более размазанными, речи — все более путанными. Наконец гости разбрехались. Однажды прямо за столом уснул какой-то слабосильный писатель, совершенно лысый, положив блестящую круглую голову на стол. Тут произошло событие, которому я до сих пор не могу найти объяснения. Мускулистый, brutальный папа и кружевная, романтическая красавица мама как-то нехорошо переглянулись и засмеялись.

— Анечка, у тебя есть химический карандаш? — спросила мама, заглянув в мою комнату. Я предусмотрительно отбежала от двери, в щель которой наблюдала за происходящим, к своему столику с альбомом для рисования.

— Есть, — благонравно ответила я, протянув искомый предмет маме. Химическим называли карандаш, который надо было поклонить перед использованием, тогда он начинал писать несмываемыми чернильными штрихами. Родители снова нехорошо переглянулись, а потом папа принялся выводить четкими крупными буквами на блестящей лысине слово. Да-да, именно то самое ужасное слово, которое первым западает в разум и душу ребенка, короткое, емкое, из трех букв: «Х...». Лысина была влажной, смачивать карандаш слюнями не требовалось. Работа спорилась. Я, обалдев от происходящего, смотрела на процесс каллиграфии; у папы, в отличие от других врачей, писавших неразборчивыми каракулями, был отличный почерк. Что называется, твердая рука. Может быть, в прошлой жизни он был самураем, выписывал кисточкой, обмакнутой в тушь, иероглифы «спокойствие», «радость», «борьба»... Когда на лысине крупно и четко, обведенное не раз, засинело слово, мама ласково потрясла писателя, лауреата каких-то премий, за плечи:

— Юрий Анатольевич, вам пора! Дома заждались!

Писатель встрепенулся, смущенно пожал плечами, стал бормотать что-то о тяжелой усталости от литературного труда... Поинтересовался, ходят ли еще троллейбусы. Мама ответила, что ходят, конечно. Еще и девяти нет. Папа добавил, что сейчас много народу едет в троллейбусах. Очень много. Гость извинился еще многократно, надел ботинки в прихожей, демонстрируя плоды усилий моего родителя на лысине. Поцеловал маме руку, раскланялся с папой, ущипнул меня за щечку и удалился, слегка пошатываясь. Мама мелодично смеялась, папа улыбался сурово, как и положено самураю. Я ушла к себе, размышляя о писателе небольшого роста, о мертвенно-желтом свете в салоне троллейбуса, о том, умеет ли семья писателя читать... Потом взяла цветной мелок и на маленькой школьной доске, повешенной у меня в комнате для тренировок перед грядущим обучением, вывела твердой рукой печатными буквами: «Х...». Совсем как папа.

### Череп номер два

Мама занималась спелеологией. После моего рождения, конечно, меньше и реже, чем в юности, но она была храброй, моя мама. Она спускалась в страшные пещеры, где росли сталактиты и сталагмиты (несколько лежало дома в застекленном трюме), преодолевала подземные пропасти и карабкалась по отвесным скалам. Иногда — в полной темноте. В группе спелеологов она была самой отважной. Из одной экспедиции мама привезла сувенир: верхнюю часть челове-

ческого черепа, слегка обгорелую, видимо, очень древнюю. По крайней мере, так сказал папа. Он рассмотрел сувенир, изучил черепные швы и лицевой угол и заявил, что это череп первобытного человека. Питекантропа. Или — неандертальца. Что это ценная для науки находка, но мы возьмем ее себе. И сделаем из нее пепельницу. Идея маме очень понравилась, и уже на следующем поэтическом сборище пепельница-череп заняла место на полированном столике. А рафинированные гости, демонстрируя демонизм, стряхивали туда пепел... Мама, вздыхая, все говорила о том, что неплохо бы оправить ценную и раритетную вещь в серебро. Так продолжалось довольно долго. Пока не пришел в гости папин друг — патологоанатом.

Он заинтересовался черепом и стал внимательно разглядывать его. Очень внимательно. Мама пояснила, что это доисторическая находка, очень ценная. Что череп принадлежал когда-то питекантропу. Или неандертальцу. Старинная, дорогая вещь. Патологоанатом развеял иллюзии родителей, профессионально сообщив, что череп принадлежал мужчине лет сорока—пятидесяти, убитому тупым орудием в затылочную часть головы. Где-то лет семь назад. Может, меньше. Папа слегка поблдевел и надел очки правильно. Мама приоткрыла рот.

После ухода гостей смиренные и тихие в этот вечер родители в молчаливом согласии упаковали пепельницу в газету. Потом — еще в одну. Потом папа, крадучись, дошел до помойки и опустил мамин сувенир в контейнер. Я смотрела в окно: в сумерках папа перекрестился украдкой. Впрочем, зрение мое уже было безнадежно испорчено чтением; может быть, мне просто показалось.

### Гусик улетел

Папа много работал, писал книги о вреде алкоголизма, а кроме того, подрабатывал чтением лекций на ту же тему. Он ездил от общества «Знание» в окрестные совхозы и колхозы, пугая мирных селян страшными последствиями пьянства. Лекции свои, правда, папа часто перемежал историями и анекдотами, которые должны были сатирически бичевать и обличать. Анекдоты и истории были такими смешными, а папа так артистически их рассказывал, что зал стонал от хохота. Некоторые даже записывали на бобинные магнитофоны. Народ на папины лекции валил валом, в клубах яблоку было негде упасть, люди дрались из-за мест. Председатели совхозов и колхозов заманивали папу к себе; они перевыполняли план по антиалкогольной пропаганде. И щедро вознаграждали моего отца овощами, маслом, молоком, мясом... А однажды папе подарили здорового гуся. Живого! С клювом, с оранжевыми заскорузлыми лапами, с грязно-белыми перьями! И, конечно, папа, как любой родитель (волк, медведь, тигр), притащил добычу своему отпрыску. Мне.

Восторгу моему не было предела. Собачки и кошечки у меня не было, зато появился настоящий, живой гусь! Он непрерывно гадил на зеленый палас, который достал папе его алкоголик, кушал размоченный хлеб, снова гадил и хрипло кричал... Родители умиленно смотрели, как я обнимаю гуся, угощаю его печеньем, целую в твердую грязную голову. Жил гусь в налитой теплой водой ванне, поэтому с купанием пришлось завязать. В ванной он пожирал, крикая, размоченный хлеб и печенье. И мне позволили гулять с гусем! Мама привязала к его лапке бинтик, и я выводила гуся гулять во двор, чтобы он щипал травку.

Гусик, любимый, великолепный Гусик щипал травку, непрерывно опорожнял кишечник, надрывно кричал, а за мной ходила толпа восторженных и завидующих детей. Каждый хотел погладить Гусика, потрогать его. Но я зорко следила за своим другом и никому не позволяла нарушать его покой, мешать гулянию. Я была чрезвычайно ответственным ребенком. Я засыпала в счастье и просыпалась в радости: у меня был друг, мой Гусик! Палас покрывался грязно-черными пятнами, в ванной нехорошо пахло, а папа неоднократно поскальзывался на Гусикиных экскрементах. Но родители наслаждались моей радостью, так хищники с умилением смотрят на игры своих зверят с пойманной добычей.



Купаться, в конце концов, можно было у маминых родителей, куда меня отправляли каждые выходные. Мне казалось, что гусь прожил у нас этак год, на самом деле трагедия развернулась всего за неделю.

Папа отвез меня к дедушке на Ленина, где я проводила субботу и воскресенье, отдыхая от садика и родителей. Там меня вымыли, переодели в чистое. Дали супу и маринованных грибов. Супу в нашем доме отродясь не водилось, зато были кофе, сигареты, яблочный сидр, эклеры еще бывали. Апельсины и шоколадные конфеты. Сырокопченая колбаса и шампанское. А иногда не было ничего... В зависимости от маминого настроения и папиного поведения.

Я изводила дедушку рассказами о гусе, но почему-то он не особенно разделял мои восторги, задумчиво смотрел на меня и вздыхал. Я очень любила быть у дедушки, там был покой и суп, не было врачей и поэтов, кроме того, никто не дрался друг с другом. Тихо было, светло, спокойно. Но в эти выходные я с диким нетерпением ждала встречи со своим Гусиком. Со своим лучшим другом. Я считала бы часы, если бы умела. Но вот настал вечер воскресенья, и дедушка повез меня на трамвае к родителям. К Гусику. Мы позвонили в дверь. На весь подъезд пахло исключительно вкусно. Жареным. Из нашей квартиры. Раскрасневшиеся, румяные мама и папа пригласили меня и дедушку к столу. В изобилии запеченной картошечки лежало что-то жареное, источавшее дивный аромат. Я бегала по комнатам, заглядывала в ванну (опустевшую чистую ванну), я сдавленным голосом все вопрошала, как персонаж шекспировской трагедии:

— Где Гусик? Где мой Гусик?

— Улетел, — с сожалением ответил папа. — Форточку забыли закрыть, он и улетел. Полетел в совхоз, домой, на птицеферму.

С отчаянием и страданием в груди я смотрела на крошечную форточку, куда мой крупный, упитанный друг не мог бы пролезть ни за что. Форточка была маленькая, а Гусик — большой. Страшное понимание поднималось из недр разума... А папа, накладывая мне яство в тарелку, спрашивал:

— Тебе крылышко или ножку?

Мама и папа съели моего лучшего друга. Я съела совсем чуть-чуть, заливаясь горячими слезами.

## **Подарок**

Папа редко дарил мне подарки. Билеты в цирк, кукол, книжки и дефицитную жвачку мне дарили алкоголики. Еще в детстве я твердо решила выйти замуж за алкоголика: это все были люди обеспеченные, трезвые, воспитанные, с какой-то тайной, романтической поволокой в глазах. Они никогда не оставались у нас в гостях, не спали на полу, как папины коллеги-наркологи, не заводили специальную пластинку с формулами самовнушения, которые производил страшный мужской голос: «Водка! Вы чувствуете отвратительный вкус и запах! Водка! Горечь и яд! Водка! Она разрушает печень и приносит горе в семью!..» Наркологи почему-то предпочитали сопровождать возлияния именно этой пластинкой. При слове «Водка!» они чокались и смеялись. Поэты больше любили романсы в исполнении моей мамы. Алкоголики шептались с папой в его кабинете, брали ампулы, которые папа аккуратно красил зеленой, тихо, интеллигентно удалялись. Волшебные ампулы позволяли им не пить. Так что папа не тратился на подарки — у меня и так все было.

Однажды папа пришел домой рано — часа в четыре утра. Я привычно проснулась, в ужасе прислушиваясь к звукам в прихожей, гадая, будут ли родители драться, а если будут, то станут ли использовать меня как маленького наемника, перетягивая угрозами и посулами каждый на свою сторону. Но мамин вопль был не таким, как обычно: тревога звучала в нем! Я вскочила и в пижамке бросилась в коридор. Прислонясь к дверному косяку, стоял, шатаясь, окровавленный папа. Его лицо и руки были в крови. Нерпичья кепка валялась на полу. Пуговицы на кожаном фашистском пальто были оторваны. Мама вопила:

— Тебя избили? Что с тобой? Тебя ранили?

Лицо папы выражало полнейшее спокойствие, буддийскую нирвану. Он был благостен и тих. Непривычно благостен и тих. Его плавающий взор остановился на мне. Буддийская улыбка тронула его губы. Окровавленные губы. Папа протянул мне кровавый кулак и чуть подмигнул:

— Подарок. Это тебе.

На ладони, покрытой коричневыми подсыхающими разводами, лежали две золотые коронки. Мутное сияние золота в кровавой руке, протянутой мне щедрым жестом дарителя. Я осторожно взяла зубки и пошла в свою постельку, растроганная. Папа принес мне подарок! Когда я вырасту, непременно вставлю себе эти золотые зубки. Папин подарок...

Никаких следов побоев на папе не обнаружилось. Наутро отец, как всегда, ничего не помнил. Вообще ничего. В какой жестокой битве был добыт трофей, какой сюжет из Эдгара По разыгрался в ночном Свердловске — так и осталось покрытым мраком забвения. А коронки через некоторое время мама переплавляла для нового перстня с сапфиром — на него как раз не хватало нескольких граммов золота.

## Вселенная

У папы в сумасшедшем доме объявили конкурс детских поделок. Дети врачей и младшего медперсонала должны были что-то смастерить своими руками, а потом плоды их творчества будут оценены специальной комиссией из главного врача, нескольких завотделениями и старшей медсестры. Тот ребенок, чья поделка окажется лучшей, получит приз. Так пояснил мне папа, предлагая немедленно взяться за работу. Слово «приз» произвело на меня магическое действие; приз возник в моем сознании, переливаясь и сверкая, некое воплощение юнговского Абсолюта, нечто настолько великолепное, что — невыразимое... Я никогда не получала приза. Только однажды в парке Маяковского Петя Светофоров в форме сотрудника ГАИ вручил мне маленькую брошюру о правилах дорожного движения — за то, что я быстрее всех прибыла к финишу на педальном скрипучем автомобильчике. Но брошюра, бережно хранимая мной, не была призом. Это было просто поощрительное вознаграждение, так сказал Петя Светофоров. Еще были папины награды за победы в спортивных состязаниях: бокс и штанга. Это были довольно уродливые металлические кубки и медали, стоявшие в «стенке» на видном месте. Приз — это было божественное, из области херувимов и серафимов, сверкающее видение астрального мира...

Я бросилась в свою комнату и принялась за поделку. Я взяла банку от маринованных венгерских огурчиков, которые папе ящиками поставлял один милый алкоголик. Я наполнила ее водой из-под крана. Я размешала в воде полную баночку черной гуаши. Я насыпала в черную воду обрывки елочной мишуры. Я бросила туда конфетти из цветной бумаги, изготовленные собственноручно при помощи дырокола. Я опустила в банку крошечных пластмассовых челобучиков из настольной игры. Закрыла банку пластмассовой крышечкой и рванулась к папе с банкой в руках:

— Папа, я сделала поделку для выставки! Смотри, видишь? Это Вселенная!

Лицо моего доброго отца как-то изменилось, чуть побледнело, а очки он поднял на самые глаза и даже чуть выше. Я трясла банку, дрожа от возбуждения:

— Это Вселенная, папа! Только ты, когда будешь показывать поделку комиссии, вот так вот крути банку, верти ее! (Я показала вращательные движения.) Это Космос, Вселенная! Все движется, планеты крутятся, звезды летят! Мне дадут приз!

Папа очень пристально, очень внимательно смотрел на меня и на банку. Он был хорошим профессионалом-психиатром, мой папа. Он был не на шутку напуган. Он переглянулся с мамой, которая отложила сигарету «БТ» и тоже как-то странно смотрела на мое изделие.

— Знаешь, доча, — неожиданно ласково сказал папа, — пойдем лучше сделаем ежика!

Папа размял коричневый пластилин, слепил нечто яйцевидное и утыкал спичками. Я пришла в восторг и даже позабыла про свою поделку. Ежик был потрясающим! Утром папа положил ежика в коробочку и унес на работу.

Весь день в садике мне было тревожно и смутно-радостно; вечером за мной пришел трезвый и спокойный папа. Он принес приз. Призом был зеленый металлический танк на специальном проводе, с дистанционным, так сказать, управлением. Нажимая на кнопки, можно было заставить танк двигаться вперед или назад. Кроме того, в нем горела лампочка! Конечно, я испытала смутную боль разочарования, но танком так восхищались дети, особенно — мальчики, что я начала гордиться призом. Я поняла, что такое — приз; к Вселенной и Абсолюту он не имел никакого отношения. Но, собственно, мы ведь и не отнесли банку с моим Микрокосмом; мы сделали просто ежика... Так что приз был вполне адекватен, как сказала бы я сейчас. Только спустя многие годы я узнала, что танк был приобретен папой самолично. Для меня. «Потому что мне насрать на их сраные конкурсы, — так сказал мой постаревший папа. — Это мой ребенок должен получить все призы!» Собственно говоря, я и сама так думаю. Даже сейчас.

### Теремок

Когда я была совсем крошечной девочкой, лет двух с половиной, папа играл со мной. Игра была всегда одна и та же: для нее использовалась картонная книжка-раскладушка. Несколько кусков картона с наклеенными на них рисунками с незамысловатыми подписями складывались гармошкой. Из такой книжки можно было построить квадратный бункер — типа домик. Это был теремок. Тот самый терем-теремок, что ни низок, ни высок... В теремке внутри сидела какая-нибудь игрушка. Например, кошечка или китайский древний мандарин из фарфора, непрерывно качающий головой, позаимствованный с бабушкиного туалетного столика. Другие игрушки в исполнении папы подходили к теремку почему-то зигзагообразной, качающейся походкой... Они стучали в картонную стену убежища и настойчиво, а вовсе не робко вопрошали: «Можно к вам?» Приходя почему-то в исступление от возможности пожалеть кого-то и продемонстрировать свою доброту, я вопила: «Можа! Можа!» Никаких «Кто там?» или «Что надо?» Лисичка или медвежонок ловко перепрыгивали через стену при помощи папиной властной длани и оказывались в домике. В тепле и безопасности. Игра длилась, количество игрушек внутри импровизированного домика все увеличивалось, пока, наконец, очередной странник не оказывался, так сказать, последней каплей, — последнее восторженное «Можа!» совпадало с крушением теремка, после чего игра, по моему настоянию, продолжалась сначала... Восторгу моему не было предела!

Психолог Берн открыл, что первая сказка имеет огромное влияние на будущее ребенка, определяет его жизненный путь и жизненную позицию. Я почти дочитала его интересное исследование, закрыла книгу и во многом согласилась с автором. В одной комнате храпел и стонал во сне вернувшийся после пятнадцатилетнего заключения преступный авторитет Афганец. В другой притих на диване мой лучший друг транссексуал Верочка, она же Памела. На кухне швыркал чаем сошедший с ума и утративший все до единого зубы бывший боксер Гуня, полное имя — Гуинплен. От книги меня оторвал телефонный звонок — мой приятель гомосексуалист Юрочка просил приютить на пару дней двух лилипутов из цирка, которым почему-то пока не дают общежитие. «Можно, они у тебя переночуют?» — вежливо спросил Юрочка, а я ответила, хотя уже и без былого восторга: «Можа! Можа!..»

## Зуева

Я не очень любила гулять. На улице подстерегали разные опасности: микробы, о которых много и красноречиво рассказывал папочка. Страшные пьяные. Бешеные собаки. Старуха Лазаревна. Большие мальчишки. Главной опасностью была Зуева. Это была девочка пяти лет, моя ровесница, страдавшая удивительной болезнью под названием «гигантизм». От других болезней люди становились хлипкими и чахлыми. А от этой болезни румяная девочка Зуева к пяти годам достигла роста воспитательницы, а в объемах превосходила ее вдвое. Она носила мужские ботинки и одеяние, напоминавшее хитон или тогу. В тугие косячки были вплетены яркие бантики. В садике мы были в одной группе, но там Зуева более или менее находилась под контролем взрослых. Чтобы остановить развитие ужасной болезни, ей не разрешали много кушать. Только обычную детсадовскую порцию, которой, конечно, гигантше было мало. До смешного мало. По советским законам коллективного воспитания, каждый день назначались дежурные. Дежурным следовало накрывать на столы, а после еды — убирать посуду и счищать объедки с тарелок в огромный алюминиевый бак с надписью «Для отходов».

Зуева очень любила дежурить. Содержимое тарелок она счищала себе в рот. Правильнее сказать, в пасть. А за столиком она сидела — вернее, громоздилась — напротив меня, с трудом уместив большое тело на детском стульчике с хохломским рисунком. Она внимательно смотрела на меня серо-голубыми глазами, холодными, как глаза какой-нибудь Брунгильды. Она пристально рассматривала каждый кусочек еды на моей тарелке. Она провожала взглядом каждое движение ложки от тарелки до моего рта (вилок нам не давали). Она хриплым шепотом спрашивала меня: «Ты не хочешь эту котлетку?» Загипнотизированная тяжелым взглядом, я тайком пододвигала ей тарелку. Ягоды из компота следовало засунуть в рот, но ни в коем случае не проглотить. Разложив крошечную раскладушку, расстелив постель перед дневным сном, следовало достать ягоды изо рта и тайно передать их Зуевой, которая мрачным великаном маячила за моей спиной. Но даже это не тяготило меня. Пойманная нянькой за очищением тарелок известным способом, Зуева горько плакала в углу, как обычная пятилетняя девочка, которой она и была. Бедная, больная девочка.

Во дворе маленькой великанше Зуевой хотелось играть. Другие дети, куда более проворные и ловкие, чем я, убежали при ее виде. Я уже тогда плохо видела и ощущала невыносимый груз дефекта личности под названием «совесть». Может быть, это был дефект «сострадание» — не могу точно сказать. Это мешало бегству. Может быть, многие герои оказались на эшафоте по этим двум причинам: неповоротливость и совесть. Тяжелая рука ложилась на мое плечо, хриплый бас вопрошал: «В резиночку?» Я обреченно кивала. «Резиночкой» называлась игра, при которой считая бельевая резинка натягивалась на ноги двух стоящих девочек, а третья прыгала, выделявая замысловатые антраша и зацепляя резинку в виде разных геометрических фигур. Фигуры назывались «тяп-ляп», «треугольник» и как-то еще. Если девочка не справлялась с фигурой, считалось, что она «окаралась», и прыгать могла уже другая, ранее стоявшая девочка. Я плохо помню названия фигур и туров, потому что прыгать мне не удавалось. Прыгала, сотрясая все вокруг, только Зуева. Один конец резинки находился на моих ногах, а другой был натянут на урну. Всем удавалось смяться. Если Зуева ошибалась, она громко и задорно вопила: «Чур, не считово!», что означало продолжение пытки. Энергии у больной девочки было много, игра продолжалась часами. Особенно тяжело было играть зимой. Ноги от долгого стояния немели, тело каменело, я, как маленький генерал Карбышев, замученный фашистами, стояла на морозе, в темноте рано наступившей ночи. Зуева прыгала, как Годзилла, раскрасневшись и вспотев. На небе мерцали тогда еще видимые блеклые звезды, намекая на тленность и брэнность всего земного. Вваливаясь домой в жестяной от холода цигейковой шубе, расстегивая пуговицы онемевшими пальцами, я отвечала непослушными, словно чужими губами на

мамин светский вопрос, как, мол, прошло гулянье: «Мы играли в «резиночку» с Наташей Зуевой». Наташей Зуевой из страны Бробдингнегов...

### Двести граммов шоколадных конфет

Мама часто посылала меня в магазин. Чтобы попасть в магазин, следовало пройти через двор, повернуть за забор и еще немножко пройти вдоль мутной стеклянной витрины. В магазине я обычно покупала в винном отделе бутылку шампанского и сигареты «Космос». Их из длинного мундштука покуривала моя мама, попивая замороженное шампанское, элегантно скрестив в кресле длинные ноги. В те далекие годы мои покупки никого не возмущали и не удивляли. Я была рада услужить маме. От шампанского мама лишь слегка розовела, а не сдвигала очки на кончик носа, принуждая меня музицировать под дикие пляски жидов и поэтов. Мама вовсе не носила очков. Она была глазной доктор. Мама и мне не разрешала носить очки, хотя уже в детстве я исключительно плохо видела. «Очки уродуют внешность», — веско говорила мама. Она придавала большое значение красоте и гармонии. Шампанское мама закусывала шоколадными конфетами. Мама изящно отламывала слой шоколада по сторонам конфеты, а начинку отдавала мне. Начинку она не любила.

Однажды конфеты в очередной коробке, принесенные мамино-папиными пациентами, кончились, и мама послала меня в магазин. Она велела мне купить двести граммов шоколадных конфет. Лучше трюфели, а если их не будет — какие-нибудь хорошие. Терзаясь сомнениями по поводу того, какие конфеты могут оказаться хорошими, я отправилась в гастроном. В бумажный фунтик продавщица насыпала металлическим совком двести граммов конфет. Они назывались задорно: «А ну-ка, отними!» Наверное, очень хорошие были конфеты. Я вышла из магазина, держа в руке грязно-коричневый фунтик из грубой бумаги. В уме я тревожно считала сдачу. Я уже довольно хорошо умела считать — сказывалась практика походов в магазин.

Передо мной на асфальт легла мрачная тень. Очень большая тень. Такую тень могли отбрасывать античные богини судьбы. Я подняла глаза. Даже щуриться было не надо — в упор на меня глядела своим пронзительно-ледяным взором Зуева. Ветер чуть колыхал ее одеяние. Ботинки прочно стояли на земле.

— Что у тебя в кулечке, Анечка? — ласково и хрипло спросила она.

В детстве даже грубые дети звали меня Анечка. Собственно, только грубые дети меня так и звали. Теперь меня, уже взрослую тетю, тоже часто называют Анечкой. Как правило, те, кто считают меня идиоткой и хотят ограбить и обмануть.

— Конфеты, — покоряясь року, ответила я. — Маме.

Позорное добавление, словно судьбу можно умиловить и разжалобить. Или сослаться на чей-то авторитет. Как какой-то трусливый ацтекский вождь со своими нелепыми жертвами и дарами. Лукавый, так сказать, царедворец. Мне до сих пор стыдно за это добавление.

— Знаешь, — гипнотическим голосом сказала Зуева, — если бы у меня были конфеты, я поделилась бы со мной.

Явное логическое нарушение слегка покорило меня, но я покорно достала из кулечка конфету и протянула ее Зуевой. По ветру полетела бумажка и золотинка — тонкая серебристая фольга, в которую завернута конфета...

— Ты знаешь, Анечка, что у меня есть брат, — монотонно продолжала Зуева. — Как я могу есть конфеты, когда у моего брата нет конфеты?

Никакого брата у Зуевой не было. Родители и ее-то с трудом могли прокормить. После удивительной болезни Зуевой врачи вообще запретили им иметь детей. Но я покорно достала еще одну конфету.

— А маме? Ведь своей маме ты несешь конфеты? А папе? — перечень родственников продолжался, сопровождаясь обращением к моему сверх-я и абстрактной справедливости. Опровергая все тезисы, бумажки и золотинки летели по ветру одна за другой, рот Зуевой непрерывно шевелился, шоколад вскипал в



уголках губ. Зато теперь я точно знаю, сколько конфет в двухстах граммах. Тринадцать шоколадных конфет. Теперь меня трудно обвесить и обсчитать. Двести граммов — это тринадцать конфет вместе с бумажкой и золотинкой. Все они исчезли в пасти чудовища. Как маленький Эдип перед Сфинксом, стояла я на ветру с опустевшим фунтиком в руке. Миром правит Рок.

Я механически дошагала до дома, до подъезда, до квартиры. Открыла дверь ключом. Мама взяла легкий кулечек и спросила изумленно:

— А где конфеты?

— Я встретила Наташу Зуеву, — ровным голосом пораженного молнией человека ответила я. — Я угостила Наташу Зуеву.

— Дурочка! Угостить — это не значит отдавать все! — наставительно объяснила мама. — Надо дать одну конфетку. Может быть, две. И все.

— И все, — повторила я. Слова мамы были сродни предложению отделаться от грабителя рублем на пропой души. Или от волка — одним, максимум двумя пирожками. Или от богини судьбы — золотым ожерельем, брошенным в колодец...

Вечером мама, смеясь, рассказала папе о моей глупости. Папа был шокирован и возмущен. В комической истории он отметил еще один полутон — поведение Зуевой. Жадность, которая воспользовалась глупостью. Как бы картина-аллегория, которых много было в маминых альбомах с великолепными репродукциями, — «Жадность поедает конфеты Глупости». Всюду пояснения мелкими готическими буквами и масса многозначительных деталей-символов.

— Надо поговорить с этой Зуевой, — решил папа, педагогично блеснув очками. Он был трезв и профессионален. — Надо объяснить ей, что так поступать нельзя. Это может превратиться в привычку.

В моем воображении предстала картина: Зуева пьет шампанское прямо из бутылки, из ноздрей идут пузыри. Закуривает «Космос». Рвет зубами батон. Мне стало дурно.

...Как-то вечером мы с папой шли домой по двору. Нерпичья кепка сидела криво на лысоватой и крепкой голове моего отца. Кожаное пальто чуть поскрипывало, новое и блестящее. Очки достигали середины носа.

— Вот идет Наташа Зуева, — робко, но со значением сказала я. Я помнила воспитательный разговор.

Папа обернулся, строго сведя брови и поправив все ниже сползающие очки. Он был готов беседовать и пояснять. Если надо, задавать сократовские вопросы, которые сами по себе уже есть ответы. Из-за его плеча нависла мощная фигура монстра, по случаю прохлады облаченная в более плотное и широкое одеяние. Возможно, это была портьера.

В косичках великанши цвели яркие бантики. Ведь ей было всего пять лет, жительнице страны Бробдингнегов...

— Здравствуйте, — вежливо пробросила Зуева. — А Аня выйдет?

Зуева была чуть ниже моего папы, но за счет портьеры гораздо шире, объемнее. Греко-римскую портьеру развевал осенний ветер.

— Сегодня — нет, — лаконично ответил папа, устремляясь в подъезд. Он был умным, мой папа. Он сразу узнал богиню судьбы. Спорить с богами и задавать им сократовские вопросы не следует.

А в магазин меня долго не посылали. Только иногда, за хлебом. Но хлеб Зуеву не очень интересовал.

## Два поезда

Дедушка, мамин папа, был известным ученым. Он был сильным и мужественным человеком, он участвовал в Сталинградской битве и пешком дошел до Берлина. Дедушка очень меня любил. У него были насчет меня планы. Планы были такие: заниматься со мною науками и отдать меня сразу в третий класс, минуя первый и второй. Потому что я — вундеркинд. Мне нравилось слово «вундеркинд». Оно было похоже на другие немецкие слова, которые знал де-

душка: «хэнде хох!» и «айн, цвай, драй!». Познания в немецком языке дедушка получил на войне, а физику изучал потом в университете.

Читать я выучилась самостоятельно. Первым прочитанным произведением был рассказ Эдгара По «Убийство на улице Морг». После этого к моим ночным страхам перед визитами пьяного папы и семейными побоищами прибавился страх громадного орангутанга с бритвой в руке, влезающего в окно. Впоследствии, прочитав у Тарковского в стихах: «Когда судьба кралась за нами следом, как сумасшедший с бритвою в руке...», я не оценила метафоры. Судьба не крадется — что ей красться? Она лезет в окно, совершенно открыто размахивая этой самой бритвой, не таясь и не прячась. Прятаться надо нам.

Считать я выучилась в магазине, покупая шампанское, сигареты и другие необходимые вещи. Кроме того, я немного знала немецкий — все вышеприведенные выражения. Вундеркинд, хэнде хох, айн, цвай, драй. Дедушке их вполне хватало, чтобы победить на войне.

Дедушка доставал лист белой бумаги формата А4 — бумаги было много, дедушка возглавлял научный физический журнал при Академии наук. Он садился за массивный письменный стол, сажал меня напротив, включал настольную лампу — нужно, чтобы света было много и он падал под правильным углом. Давал мне ручку, восхитительную, перьевую, с золотым пером и гравировкой. Это была единственная ценная вещь моего дедушки. Сам брал карандаш, острый-преострый, идеально заточенный трофейной опасной бритвой, сразу напоминая мне о творчестве Эдгара По. И принимался чертить чертеж ровными, правильными, идеальными линиями, с красивыми суммарными скобками и стрелочками. Схематично рисовал два паровозика. С любовью и предвкушением смотрел на меня. Мы готовились заниматься наукой.

Семья моего дяди, проживавшая совместно с дедушкой в его большой академической квартире, начинала срочную эвакуацию. Дядя-физик с большой черной бородой поспешно отправлялся в научную библиотеку. Или играть в шахматы. Не могу не упомянуть, что борода дяди толкала папу-психиатра к задумчивым научным сентенциям. Например: «Длина бороды человека обратно пропорциональна его нормальности». Тетя, толкая неуклюжую сидячую коляску с моим двоюродным братцем Сереженькой, будущим физиком, отправлялась на молочную кухню. Бабушка Георгина шла на кухню пить чай. Прабабушка Маша запиралась у себя в комнате и принималась писать очередную акварель. Все знали, что наступил священный час науки.

Дедушка, закончив аккуратный чертеж, ласково рассказывал, что из пункта «А» в пункт «Б» выехал поезд. Он ехал со скоростью шестьдесят километров в час.

— Он ехал в Москву, — уточняла я. Я тоже любила точность. Как дедушка.

— В Москву, — соглашался дедушка. — А в это время из пункта «Б» ему навстречу выехал другой поезд. Этот поезд — вот здесь подпишем — ехал со скоростью пятьдесят километров в час.

— Из Свердловска, — опять уточняла я. — Мы на нем ехали, дедушка, с тобой. Много раз. Поезд называется «Урал». Ты подпиши здесь вот — «Урал». На занавесочках так написано, на чашечках. В другом поезде стаканчики в подстаканниках, а здесь — чашечки. Беленькие. Когда едешь, чашечки дребезжат: «дрынь-дрынь-дрынь»... Помнишь, дедушка? Здесь нарисуй чашечки и сеточку, куда я игрушки складываю, когда мы едем.

— Ты слушай, Анечка, — ласково убеждал дедушка. — Один поезд едет со скоростью шестьдесят километров в час. А другой, ему навстречу, со скоростью пятьдесят километров в час.

— Дедушка, они же столкнутся! — пораженно бормотала я. — Видишь, один едет сюда, где стрелочка показывает... Другой паровозик — сюда. Они едут-едут да и столкнутся! Все люди упадут. Расшибуются. Помнишь, на меня упал пьяный дяденька с верхней полки? Ты ему еще говорил: «Товарищ, как вам не стыдно! Вы могли ребенка покалечить!» А я только ножку ушибла. Дядьку забрали в милицию, он кричал: «Я фронтовик!» А ты ему сказал: «Тогда тем более стыдно, товарищ!» Это когда мы ехали в Москву, на Кремлевскую елку. Там

дали подарок — большой Кремль, а в нем — конфеты. Очень вкусные конфеты, и так много! А в парке Маяковского плохие подарки.

Дедушка был семь раз ранен на войне и два раза контужен. Он был очень сдержанным и воспитанным, но очень нервным. Руки у дедушки начинали немножко трястись. Он поправлял чертеж и снова спокойно повторял, что скорость одного поезда — шестьдесят километров в час. Другого — пятьдесят. Он обводил острым грифелем каллиграфически выведенные цифры.

— Занавесочки такие беленькие, крахмальные. Я бы такие хотела в куклин дом, дедушка. Ты в Академии наук сколоти мне домик для куклы. Или вот — поезд. Такую полочку сделай, она будет там спать. В поезде я сплю, а ты не спишь, потому что полка всего одна. Потому что ты не хочешь спать, да, дедушка? А когда поезда столкнулись, все там спали. Чашечки разбились. А сахар в поезде в оберточке такой дают, а дома — только в сахарнице.

Дедушка спокойно и ровно объяснял мне условия задачи. Я внимательно слушала, вставляя замечания и добавления. Задача приобретала очертания истории, с сюжетом, кульминацией и развязкой. Дедушка непрерывно бегал курить в туалет. При мне он никогда не курил — табачный дым вреден для легких ребенка. Из туалета дедушка возвращался чуть более спокойным, бледным и решительным. Он предлагал мне другую задачу, про ящики. Ящики он тоже аккуратно вычерчивал на бумаге. Меня интересовало, что лежало в ящиках. Были ли это аккуратные посылочные ящики, в которых мама присылала мне грузинские лакомства, когда была на учебе в Тбилиси, или такие большие, занозистые ящики для фруктов, одни раз папа принес мне такой ящик с апельсинами. Ему подарил один алкоголик. Щедрый, хороший человек. Я съела очень много апельсинов, и у меня болел живот. И вызывали врача. Помнишь, дедушка?

Дедушка был бледен как полотно. Его губы синели. Руки тряслись, как у папных пациентов. Он капал в рюмочку пахучую жидкость и пил ее. И клал под язык таблетку валидола. Он уже не говорил, а орал, как когда-то на фронте. Как все нервные люди, он уже не мог выразиться связно. Он дико вопил: «Два поезда! Из пункта «А»! Восемь ящиков! Бестолочь!..» Я рыдала, большие светлые слезы падали на белую бумагу, испещренную цифрами и чертежами. Дедушка был мертвенно-бледен, а я красно-распаренна. От дедушки пахло табаком, валидолом и одеколоном «Белая сирень». Дедушка стучал кулаком по столу и хватался за сердце. В длинном коридоре бабушка говорила по телефону: «Нет, погуляйте еще. Еще занимаются».

— Ты же маленький гений! — дико орал дедушка. — Тупица! Бестолочь! Анечка! Четыре ящика и еще два!

Мои рыдания становились пронзительными и переходили в истерику. Дедушка совал мне валидол и капал в рюмочку лекарство. У меня начинала трястись голова, а у дедушки крупной дрожью дрожали руки и синие губы. Еще немного, и у нас обоих начался бы какой-нибудь припадок.

— В поезде давали обед! — взвизгивала я, сотрясаясь в нервных судорогах, икая от слез. — Тарелочки друг в друга вставлены! Дома нет таких тарелочек. Пирожки в поезде есть нельзя, можно отравиться. В окошко ночью смотришь, а там как зеркало — ничего не видно, только себя. Один поезд пусть утром едет, а другой — вечером, вот и не будет ничего!

Извечный спор физиков и лириков постепенно сходил на нет. Я сидела у дедушки на коленях и рисовала его ручкой Кремль, поезд, куклин дом, иногда судорожно всхлипывая. Дедушка пил крепкий, как деготь, чай. Семья постепенно выползала из окопов и бомбоубежищ. Мы с дедушкой очень любили друг друга.

### Перевоспитание папы

Раз в полгода мама уходила от папы. Это делалось в воспитательных целях. Мама так и говорила мне, веля собираться к дедушке: «Мы уходим от твоего папы в воспитательных целях». Папу тоже надо было воспитывать. Вернее, пе-

ревоспитывать. Из-за отсутствия правильного и регулярного воспитания в детстве папа совершал ошибки. Он сам так говорил дедушке: «Я совершил ошибку». Он умел признавать свои заблуждения.

Папа вышел выносить мусор и пропал на десять дней. Нормальным отсутствием папы считались два-три дня. Мы ходили в милицию писать заявление о пропаже папы. Осталось только синенькое мусорное ведро, аккуратно поставленное возле контейнера. Папу нашли прямо в милиции, в кабинете начальника. Очки папы были уже на уровне подбородка, а на милиционере очков не было вовсе. На полу и на столе стояли пустые и полные бутылки. Именно тогда я прониклась уважением к милиции, которая так оперативно нашла папу. Мы только еще пришли с заявлением, я, мама и дедушка. А папу уже нашли. В синем табачном дыму крутились бобины магнитофона, красиво пел про Кольму певец с красивым именем — Аркадий Северный. В милиции мне очень понравилось.

Мы собрали сумку, чемодан и взяли мою куклу. Потом на такси поехали с дедушкой. Дедушка очень строго и спокойно говорил маме, что всему есть предел. Терпение лопнуло. Необходимо принять решение и расставить точки над «и». Никаких точек над «и» я никогда не видела, но выражение мне понравилось. Дедушка был абсолютно прав. Есть люди, не способные нести ответственность за семью. Не способные учесть интересы ребенка, отрицающие элементарную дисциплину, которая является основой основ. И высокие умственные данные только отягчают вину такого человека — сознательное пренебрежение ответственностью унижает. Дедушка говорил о папе, о маме он как-то забыл. Мама куталась в красивую шаль, дымя в форточку дедушкиными сигаретами, пока он пил чай на кухне. Ей было спокойно, но скучно.

На следующий день за нами приехал папа. На своей машине — у него уже была машина, что еще больше увеличивало мое восхищение папой. Он зашел в дедушкину квартиру, чуть понурясь под грузом совести. Не униженно и подобострастно, а как подобает былинному богатырю, накануне перебравшему зелена вина с каким-нибудь Тугарином Змеевичем. Дедушка пригласил папу в комнату и посадил напротив себя на стул. Сам сел за свой массивный стол. Включил лампу. Надел очки. Начал разговор с папой. Я подслушивала у дверей.

Дедушка говорил ровно и правильно. Папа не перебивал. Он покорно и уважительно слушал и про «и» с точками, и про предел, про ответственность и дисциплину. Он не визжал и не заливался слезами, как я. Он чуть наклонил голову, опустил глаза. Иногда он слегка потирал лоб и качал головою, соглашаясь с дедушкиными словами. Оба казались мне гигантами.

— Вы правы, Виктор Николаевич, — соглашался папа. — Вы абсолютно правы. Мое поведение неприемлемо. Недопустимо для взрослого человека. Но ведь вы должны помнить, Виктор Николаевич, что я сирота. Сирота, так сказать, при живых родителях.

Родители папы, мои бабушка Роза и дедушка Ваня, жили в Царском Селе. Дедушка был полковник в отставке, бабушка — учительница литературы и русского языка. Папа был их единственным ребенком. Они любили папу и купили ему машину. И еще мы ездили к ним в гости. И ходили на переговорный пункт звонить по телефону.

— Родители как физическая данность существуют. Но я с детства чувствовал себя сиротой, — так говорил папа, и на его глазах показались слезы. — Вы мой единственный отец, Виктор Николаевич. Вы моя опора и надежда на будущее. Всеми силами я стремлюсь исправиться. Но не забывайте, Виктор Николаевич, что фактически я — инвалид.

Битва гигантов разворачивалась на моих глазах. Дедушка был абсолютно прав. Папа — абсолютно убедителен. Его контраргументы неуклонно вели к победе.

— Я инвалид с детства, Виктор Николаевич, потому что упал головой на хват, — продолжал папа, закрепляя свои позиции. — Такая травма не может не иметь последствий. Я страдаю тяжелым недугом — патологическим опьянением. Я страдаю синдромом бродяжничества и провалами памяти — так называемыми палимпсестами. Благодаря пребыванию в вашей семье и вашему влиянию



я уже был на пути к исцелению. Но проклятый приступ разрушил то, к чему я стремился. Так сказать, Сизифов труд... — тут папа горько сморщился и утер слезу, катившуюся из-под очков. Дедушка протянул ему платок. Он был очень добрым и сентиментальным, как многие герои-фронтовики. Они говорили долго. Папа перевоспитывался на глазах.

Потом мы собирались домой: взяли чемодан, сумку и мою куклу. Дедушка со значением пожал папину руку: «Держись, Валентин!» Когда дедушка отвернулся, папа подмигнул мне и улыбнулся, хищно, как волк из сказки. Машина тронулась, сирота и инвалид помахал дедушке. По пути мы по настоянию мамы заехали в ювелирный магазин, где папа купил ей красивый перстень с бирюзой.

## Мой Пушкин

Пушкин был урод и учился плохо. Одно закономерно вытекало из другого. В самом деле, какой интеллект может быть у существа, похожего на портрет неандертальского мальчика работы скульптора Герасимова? Может быть, именно скульптор Герасимов изваял из бронзы бюст солнца русской поэзии с низким, покатым лбом, нагло оттопыренными губами, первобытными бакенбардами и копной нечесаных кудрей? Кроме того, бабушка Роза, учительница литературы и русского языка, покрасила бюст зеленой краской. Он, наверное, облупился и потерял первоначальный блеск — не знаю, не могу сказать, какие соображения были у бабушки. Зеленый Пушкин принадлежал бабушке Розе, он был мой ученик. Он мне все нервы вымотал, по выражению бабушки Розы, своей тупостью и отсутствием прилежания.

— Опять ты ничего не выучил, Пушкин! — сердито говорила я. — Бери пример с Толстого! Он все выучил: и стихи, и примеры. Расскажи, Толстой, стихи!

Благообразный беломраморный Толстой рассказывал моим измененным голосом стихотворение: «Вот на елочке игрушка — всем знакомый нам Петрушка!» Получал «пятерку» в журнал — маленький блокнот с печатно выведенными фамилиями учеников: Маяковский, Пушкин, Толстой, Есенин, Горький, Ломоносов... Писать письменными буквами я еще не умела. Все это были небольшие бюсты великих людей и одновременно мои ученики. Они стояли на китайском ковре с великолепными розами, почтительно слушали мои объяснения. Я читала им книжки и рассказывала сказки.

Есенин всегда был очень грустный и не хотел играть с товарищами. Он единственный был с ручками и ножками, в печальной позе он сидел на скамейке. Стоило чуть приподнять Есенина — и открывался тайничок, чернильница, куда в стародавние годы нужно было макать перо. Чтобы Есенину было веселее, я совала ему в ручку клочок газетной бумаги с буквами — пусть почитает! Буревестник революции учился ничего себе, но был неопрятен — полурасстегнутая рубаха и длинные волосы меня беспокоили, пока я не додумалась надеть Горькому на голову белый носочек. Стало гораздо лучше. Ломоносов, щекастый и упитанный, учился отлично, но похуже Толстого. Маяковский не понимал дидактический материал и вечно глядел куда-то в сторону вылупленными белыми глазами с выражением изумления. Но в общем с классом я справлялась. Только Пушкин, неразвитый, безобразно зеленый, с явно дегенеративным лицом, тянул весь класс назад. Приходилось с ним заниматься отдельно.

— Бы... Гы... — бормотал Пушкин на все мои вопросы. Иногда я теряла терпение и отвешивала ему легкий подзатыльник. От слишком крепкого было больно — он ведь был бронзовый.

Бабушка Роза благоволила к моим занятиям. Может быть, она надеялась, что я стану учительницей, как она. Она была высокая, крепкая, голубоглазая, с хриплым суровым голосом. Во время войны бабушка Роза служила в СМЕРШЕ. Ученики боялись ее. Бабушка иногда поглядывала на мои занятия, особенно — с Пушкиным. «Уж он бы у меня попрыгал бы!» — заявляла бабушка твердо, выводя очередную «единицу» в тетради какого-то несчастного школьника.



Когда бабушка заканчивала проверять тетрадки учеников, я тоже завершала свои труды по обучению бюстов. Мы собирались и шли гулять в Екатерининский парк. Посещали дворец. Потом — Лицей. Бабушка рассказывала мне про Пушкина, который там учился, показывала его комнатку, похожую на тюремную камеру. Камеры в Петропавловской крепости были просторнее. Эта скорее напоминала карцер. Стены в комнатке Пушкина не доходили до потолка. Это было сделано для того, как объяснила мне бабушка, чтобы соседи-мальчики могли приглядывать за Пушкиным. Чем он занимается. Про Пушкина, благодаря бабушке, я знала очень много. Он пропивал всю зарплату, которую получал от царя. То, что не успел пропить, проигрывал в карты. Жену называл «коровой». Декабристы ничего не рассказали Пушкину о своем плане восстания, потому что знали, что он все разболтает. Экскурсовод еще рассказывал, что Пушкин воровал яблоки в царскосельских садах. После поучительной экскурсии мы неторопливо шли домой. По пути бабушка останавливалась у пивного киоска и выпивала большую кружку пива. Это было полезно: в пиве было много витаминов и микроэлементов. Меня бабушка заставляла выпить маленькую кружку пива — я ведь была маленькая. Мне было пять лет. Пиво было противным и горьким, но кружечка, толстостенная, запотевшая, с шапкой пены, была хороша. Тогда пиво не считалось опасным алкогольным напитком. Это было просто пиво. А Пушкин — был просто Пушкин. Уже взрослой я прочитала исторически-надрывную книжку Цветаевой «Мой Пушкин». Мой Пушкин — зеленый, безобразный, губастый, глупый. Он мне все нервы измотал!

### Книга обо мне

У нас дома было много книг. Они стояли в красивой полированной стенке и в высоких стеллажах со стеклянными дверцами. В основном это были собрания сочинений: Чехов, Тургенев, Толстой, Достоевский... Родители много читали. А папа еще и много писал: научные статьи и восхищавшие меня книжки о вреде алкоголизма. Книжки, написанные папой, были прелестны: на обложках были нарисованы крошечные человечки, тонущие в стакане, и зловещие мрачные силуэты оборванцев, замахивающиеся бутылкой на женщину и ребенка. Названия книжек тоже очень нравились мне: «На роковой черте», «Человек за бортом!», «Свистать всех наверх!...» Это были энергичные, какие-то пиратские названия. В книжках попадались замечательные истории, выделенные курсивом. Это были истории из жизни.

Как-то папа решил побелить потолок. Он постлал на пол газеты и соорудил специальную малярную шапку из газеты, такую треуголку. Маленькую треуголку папа сделал для меня. Потом папа взобрался на стремянку и стал возить кистью по потолку. Все это привело меня в такой восторг, что я вступила в стадию двигательного-речевого возбуждения. То есть начала бегать и задавать папе массу вопросов. Про белила, про кисть, про то, можно ли упасть со стремянки... Шапка съезжала мне на глаза, и я почти ничего не видела. Я врзалась в стремянку, и папа рухнул, тяжело, как атлант, который держит небо. Он поднялся, крича, сказал непонятные мне слова, которые я все же постаралась запомнить. Впоследствии, во взрослой жизни, они мне действительногодились не раз. Через некоторое время в новой папиной книжке под названием «Не сбиться с курса!» я с удовольствием прочитала новую историю. «Алкоголик К., находясь в состоянии похмелья, решил заняться ремонтом. Он принялся белить потолок. В это время под ногами путалась его трехлетняя дочь. Рассвирепев, алкоголик К. пнул свою маленькую дочь. Удар пришелся в живот. Ребенок скончался. К таким бытовым трагедиям приводит употребление алкогольных напитков и абстинентный синдром». Я внимательно перечитала историю и подошла к папе, чтобы указать на ошибки. Во-первых, мне было не три, а пять лет. Во-вторых, буквы «К» в папином имени не было вообще. И он меня не пинал, только выкрикнул куда-то в космические пространства удивительные короткие и энергичные сло-

ва. В остальном история мне понравилась. Я была польщена. Не про каждую маленькую девочку пишет книги ее папа. Один из экземпляров книги я взяла себе и унесла в садик. Показать другим детям. К сожалению, они не умели читать.

### Физические упражнения

В одном дедушка и папа были полностью согласны: мне необходимы физические упражнения. Целыми днями и вечерами я читала книжки и рисовала. Гулять, как я уже говорила, я не любила. В целом я была проворной и подвижной, но с психомоторикой явно было что-то не так. Я постоянно падала и ушибалась, запинаясь и зацепляясь за все, за что можно было запнуться и зацепиться. Зрение было плохим. Папа приобрел маленькие детские гантельки и крошечную штангу. По утрам мы делали с ним зарядку: он мощно поднимал большую штангу и вскидывал вверх руки с чугунными гантелями. Я рядом возилась со своими спортивными причиндалами. Это продолжалось недолго; каким-то загадочным образом я подставила руку как раз под папину штангу. Ноготь пришлось снимать у врача специальными хирургическими ножницами. До этого я сломала руку, бросившись к дедушке на даче, когда плохая девочка стала дразнить меня: «Это мой дедушка! Это мой дедушка!» Дикая шекспировская ревность опалила мое сознание, то самое «чудовище с зелеными глазами», которое довело до преступления Отелло. Я ринулась к дедушке, сошедшему с электрички, запнулась об собственные ноги и рухнула на землю, сломав ручку. Мне было три года. Вскоре после этого дедушка купил мне в Москве маленькую детскую швейную машинку, которая по-настоящему шила! Он взял кусочек тряпочки, заправил в машинку нитки, крутанул колесико... По непонятным причинам мой палец оказался как раз под швейной иглой. Палец был прошит насквозь, ноготь тоже снимали у врача. Я рыдала.

Дедушка купил мне коньки. Это были замечательные фигурные коньки, беленькие, со шнурочками и крючочками. Зашнуровать их самостоятельно мне не удавалось. В садике меня в наказание оставляли на веранде, запрещая играть с детьми, пока я не научусь завязывать на ботинках бантики. Завязать шнурки бантиком мне до сих пор нелегко. Дедушка стоял передо мной на коленях, пытая, шнуруя мне коньки. Он привел меня в секцию фигурного катания, чтобы я физически развивалась. В секции мне очень понравилось: на льду катались маленькие девочки в таких же беленьких, изящных коньках. Ими командовал тренер, седовласый мужчина, очень строгий. Меня поставили в один ряд с девочками, а дедушка с любовным предвкушением моего обучения и последующего триумфа стоял за бортиком корта. Он улыбался. Он хотел меня подбодрить. Подбадривать меня было не надо, я была энергична, как и полагается спортсмену. Тренер давал команды: ехать два шага вперед. Скользить. Тормозить. Как выполняли команды девочки, я не помню, потому что немедленно ударилась головой о лед. Проворно встала и упала уже на живот, стукнувшись лбом. На лбу появилась большая шишка, и начал заплывать глаз. Я залихватски улыбнулась дедушке, который уже не улыбался, а пробирался к входу на каток. И упала на бок, стараясь выполнить очередную команду тренера. Немедленно встала. Разбила коленку. Сквозь гул в ушах прислушалась к командам тренера. Но он уже ничего не говорил, прочно держа меня за шиворот. Подбежал, скользя на льду, дедушка. Я улыбнулась ему окровавленными губами и подмигнула заплывшим глазом. Тренировка только началась, все еще впереди, дедушка!

— Заберите вашу девочку. Пожалуйста, заберите! — убедительно и со страхом в голосе сказал тренер дедушке. — Она профнепригодна. Ей не надо заниматься фигурным катанием.

Чтобы опростотавить обидное заявление и порадовать дедушку, я каким-то образом извернулась, сделала скольжение и упала, проехав лицом по льду довольно большое расстояние. Дедушка и седовласый тренер не успели ничего сделать. Я оказалась куда проворнее их.

...Когда за мной к дедушке приехал папа, дедушка как-то поник и говорил виноватым голосом. Так обычно вел себя папа во время перевоспитания. А тут роли поменялись. Папа увидел меня, и брови его поползли вверх. Так выглядели молодогвардейцы в краткий промежуток между пытками в гестаповских застенках и расстрелом. Губы были разбиты, глаз заплыл, на лбу красовалась чудовищная шишка, а на щеке — кровавая ссадина. В руке я держала красивые беленькие коньки, что подарил мне дедушка. Другой, забинтованной рукой я почти не владела.

— Мы с дедушкой занимались фигурным катанием, — бодро сообщила я с нарушениями дикции. — В следующие выходные будем делать движения назад, назад... — я показала движение и немедленно упала спиной на телефонный столик. Быстро встала, подобрала коньки, и папа на руках понес меня в машину, довольно холодно простившись с дедушкой.

### Книга откровения

С младенчества я росла в окружении книг. Все свои знания я черпала не из практики, а из теории. Из двенадцатитомной медицинской энциклопедии я узнала все о болезнях, увидела на красочной иллюстрации, как выглядит укушенная рана полового члена, как правильно организовать родовспоможение и многое-многое другое. Из маминей Библии узнала, что все — суета сует и нет ничего нового под солнцем. Вред алкоголя научно разьясняли папины брошюры и книги. В книгах содержались буквально все истины на свете, надо было только все их прочитать. Недаром существует во всех религиях и культурах архетип — загадочная книга, в которой написано все-все, Книга Абсолюта. И судьбы людей, и судьбы миров, и даже судьбы богов. И тогда никаких других книг не надо: все истины и знания собраны воедино, чтобы просветить и осветить разум и душу. Прочитавши Книгу, ты станешь великим мудрецом и провидцем, которому ведомы все тайны и горькие истины сотворенного мира.

Летом мы ездили в деревню Госкино, где-то под Лугой. Там родился папин папа, дедушка Ваня, а теперь жили его мама, совсем старенькая прабабушка Акулина, и две сестры — старые девы. У них был большой добротный дом на берегу огромного озера. Другого берега вовсе было не видеть, но там, говорили, был монастырь очень давно. К дедушки-Ваниной семье относились странно, особенно — бабушка Роза. «Они были в оккупации!» — зловещим шепотом сообщила бабушка Роза моей маме. За высоким забором зрели вишни в саду полиция Якова. Все совершенно спокойно так и звали его — полицией Яков. Папа собирал вишни с веток, что свешивались к нам во двор, наполнял дуршлаг и угощал меня. Полицией Яков сурово глядел на меня из-под полей соломенной шляпы. Ему не нравилось, что я ем его вишни.

Теперь я думаю, что зверства сталинского режима были как-то преувеличены: по деревне разгуливал бывший староста, еще какие-то фашистские прихвостни стояли в очереди в деревенском магазине, а многие жители деревни отличались светлыми волосами, прямыми арийскими носами и бледно-голубыми глазами.

Фашистов вспоминали довольно тепло. В каждой семье кто-то воевал, как доблестный дедушка Ваня, который прошел финскую, Отечественную и китайско-американскую войну. Его младшего тринадцатилетнего брата пытались угнать в Германию, чтобы выучить на электрика, но отважный брат сбежал по пути. После войны он стал генералом, а не электриком. Все перемешалось, как и должно быть в человеческой жизни. Нет границ абсолютного добра и зла. Деревня в древние годы была заселена крепостными крестьянами; потом дали вольную, потом революции, потом — войны... Крестьяне жили как умели. Прабабушке Акулине немцы даже подарили патефон. Под этот патефон они танцевали с ее незамужними дочерьми. Может, они его и не подарили, а, отступая под натиском советских войск, забыли прихватить с собой. Но еще они оставили не-

что мистически-важное, оказавшее громадное влияние на мою детскую психику и всю дальнейшую жизнь.

В темном углу в сенах, в кованом сундуке, я нашла Книгу. На вид она была неказиста: бумага старая, крошащаяся, буквы чуть выцвели, на обложке дата: 1942. Настоящий алмаз тоже неказист, пока не засверкают его грани, не блеснет невыразимой чистотой сердцевина... Я уже хорошо умела читать. Буквы были печатные, крупные. Чтобы мог прочитать любой русский человек, в чьи руки попадет Книга. Вот я и прочитала. Начало было ясным и энергичным: «Русский человек! Жиды и коммунисты обманывают тебя!» Вот какой должна быть первая фраза, над которой так мучаются писатели. Она захватывает внимание и несет информацию. Это тебе не «моросил мелкий дождь»... Я застыла, потрясенная. В этот миг на Книгу упала мощная тень бабушки Розы. Великолепная Книга была выхвачена у меня из рук. Я никогда не узнала истины и, видимо, уже никогда не узнаю. Книгу куда-то дели, над семьей некоторое время словно висела тень или грозовая туча, все молчали. Но в свои четыре года я обрела прозрение, меня коснулось дыхание правды. Я вышла на улицу, села на лавочку, рядом молча курил полицейский Яков. Он был совсем старенький. Моросил мелкий дождь.

### **Песни и танцы**

В детстве у меня был брат. Не родной, а двоюродный — сын маминой сестры тети Нади. Он с родителями жил в Москве. Его мама и папа были куда более рафинированными, чем даже моя мама. Они были утонченными, изысканными людьми, по профессии — архитекторами. Алешка был младше меня на два года и походил на маленького лорда Фаунтлероя. На груди у него сверкала белозолотой манишка или кружевное жабо. Ноги были обуты в лаковые сандалики. Волосики аккуратно причесаны на пробор. Он был очень изящным ребенком. И очень тихим. На лето его привозили к дедушке, чтобы он мог отдыхать на даче. Вместе с Алешкой привозили несколько больших чемоданов, где лежали его наряды. Каждый наряд был аккуратно запакован в пакет, а к пакету прикреплялась записка, где красивым архитектурским почерком было написано напоминание: какие брючки надевать именно с этой рубашечкой. И какой повязывать галстучек. Или — жабо. Родители оставляли чемоданы и Алешку дедушке и отправлялись в дом отдыха на юг. Куда-нибудь в Болгарию или в Абхазию. На прощанье они напоминали, что Алешку необходимо каждую неделю водить в парикмахерскую, чтобы подровнять локоны. Я любила Алешку, хотя и немного ревновала его к дедушке.

Дедушкина дача, попросту — старая изба, находилась в глухой уральской деревушке. Ехать туда надо было на электричке три часа, в битком набитом вагоне. Мы были совсем маленькими, поэтому совестливые советские граждане уступали нам место. Особенно — диковинному Алешке. Из нагрудного кармана у него торчал уголок кружевного платка. Благодаря нам дедушке не приходилось стоять на раненых ногах. Он брал на ручки Алешку, я усаживалась рядом, и мы ехали да ехали, глядя в грязное окно вагона.

На даче не было ни водопровода, ни горячей воды. Дедушка носил воду в ведре из колодца. За ним шла я с маленьким зеленым ведерком, а за мной семенил Алешка с чайником. Воды надо было много. Бабушка работала, и дедушка жил с нами на даче один. Через несколько дней локоны Алешки превратились в ужасный колтун, и дедушка поехал с нами на станцию Кузино, в парикмахерскую, где с фронтовой простотой велел остричь Алешку наголо. Колготки Алешки были описаны, так что дедушка дал ему мои. Колготки свисали со ступней, как грязные лапы. Жабо было черным от грязи, но дедушка повязывал его Алешке на шею для тепла, как шарфик. Галстучками подвязывались сползающие колготки. Алешка тихо улыбался мне. Ему нравилось на даче.

Ездить в электричке было очень скучно. Люди толпились и наползали друг на друга, было душно. Все везли рюкзаки, баулы, тюки, саженцы, мешки и

прочие дачные принадлежности. И тут мы с Алешкой открыли для себя отличное времяпровождение — мы стали петь. Сначала тихонько, потом — громко. Песни, которые мы разучивали в садике или слышали по радио и по телевизору. Прекрасные военные, патриотические песни. «Щорс идет под знаменем, красный командир!», «Там вдали, за рекой, загорались огни», «Вставай, страна огромная!»... Утомленные, скучающие пассажиры с удовольствием слушали импровизированный концерт. Слушали ведь даже калек-попрошаек, которые в вагонах ныли мрачные и слащавые песни, а тут — трогательная картина! Дедушка в старом пиджаке с орденом планками на груди. У него на ручках — милый крошка. Рядом — маленькая девочка. Несколько раз нам хлопали. Дедушка гордился нами. И нашим репертуаром.

В электричке мы даже стали достопримечательностью. Некоторые пассажиры специально разыскивали нас в пятничном поезде, переходя из вагона в вагон через страшные трясущиеся тамбуры. Алешка с нетерпением ждал электричку. Он очень полюбил петь. Он буквально чувствовал себя звездой. Репертуар наш был невелик, но патриотичен.

Как все звезды, Алешка стал тянуть одеяло на себя. Он пел все громче и громче, уже даже не пел, а истерично кричал. Внимание окружающих его просто пьянило. Он размашисто жестикулировал и задел меня по лицу. Его лицо стало очень красным, лоб взмок. По остриженной голове катились капли пота. «Танки и ракеты, бронетранспортер!» — выкрикивал братец слова очередной военизированной песни великой империи. Теперь я бы сказала, что он вошел в шаманский транс; подобно дикарю, кружащемуся в диком танце, он пребывал уже в какой-то иной реальности. Как член секты трясунов или хлыстов, он был обуреваем неумной и странной энергией. Я перестала петь, понимая, что происходит что-то удивительное и сакральное. С распутинской удалью маленький Алешка сорвался с колен дедушки и выскочил в проход между рядами скамеек. Пассажиры посторонились. Алешка завертелся в изуверском танце, шлепая лаптами колготок. Лаковые сандалики давно слетели.

Как-то на базаре  
Две старухи сра...  
Что-что? Да ничего!  
С радости плясали! —

провизжал на невероятно высокой ноте малютка и тут же принялся разделявать антраша под другой куплет:

Как у дяди Луя  
Потекло из ху...  
Что-что? Да ничего!  
Из худой кастрюли!

Дедушка просто окаменел. А изящное дитя архитекторов сорвало с себя грязное жабо и стало махать им в воздухе как платочком. Следующий куплет был посвящен зайцу, который хотел почесать яйцо, но его я слышала уже как сквозь туман. Возможно, это была шаманская энергия нижнего мира... Дедушка только шевелил синими губами. Пассажиры остолбенели, а Алешка крутился и вертелся, как крошечный дервиш...

Конца истории я не помню, хоть убейте. Но слова разудалого гимна свободе остались в моей памяти по сей день. Теперь вы сами в этом убедились. Остались ли они в памяти Алешки — я не знаю. Но когда я встретилась со своим лысым и солидным братом в его министерском кабинете, я увидела уголок белоснежного платочка, чуть видневшийся из кармана дорогого костюма. И невольно перевела взгляд на ноги — они были обуты в красивые лаковые ботинки. Одна нога чуть притопывала, словно в слышимом только Алешке музыкальном ритме. Архитектором он, кстати, так и не стал.



## Лебединая песня

У моей мамы было много поклонников. Если бы не папа, их было бы гораздо больше. Или — наоборот. Может быть, именно наличие свирепого папы будоражило и активизировало поклонников. Красота Елены Троянской еще притягательнее, если поблизости бродит циклоп.

О папином благополучии пеклись его алкоголики, о маминном — ее поклонники. Некоторые просто сходили с ума при встрече с мамой и пытались взять ее себе, как какую-то жар-птицу или сокровище. Помню, как по темной улице за нами бежал нетрезвый подполковник, крича что-то невнятное. Мы успели заскокочить в квартиру и захлопнуть дверь. Потом в замочной скважине обнаружили сорванные с погон золотые звезды. Я приделала их к куклиному платью — вышло очень красиво. На даче, в лесу, где мы бродили с мамой, собирая цветы (грибы и ягоды мама не особо собирала, это было не так красиво и элегантно), нас увидел водитель гигантской машины — лесовоза. Перемолвился с мамой парой слов и поехал за нами, вырывая пласты дерна. Нам удалось скрыться в чаще леса, куда машине было не проехать. Мама, как всегда, была на каблуках. Она всегда была на каблуках и красиво накрашена. Даже в лесу.

Поклонники дарили маме духи, украшения и другие приятные вещи. Они приглашали ее в рестораны и на премьеры. В ресторанах мне очень нравилось, однако мое присутствие, очевидно, тяготило поклонников. Им хотелось остаться с мамой наедине, но она играла по своим правилам. Тем более представлялся случай сытно накормить ребенка. Папа бы это одобрил, но рассказывать ему о маминных встречах с поклонниками строго запрещалось. «Это огорчит папу, — мягко пояснила мне мама. — Он будет расстроен». Ни за какие блага в мире я не хотела бы огорчить папу. Кстати, ни разу в жизни я не видела папу огорченным — вплоть до сегодняшнего дня! Совершенно другие, античные эмоции владели и владеют моим отцом. Гнев, ирония, ярость, благодушие, размышление... Может быть, это и моя заслуга.

Самого интересного поклонника звали Вольдемар Аркадьевич. Это было изумительное имя. Если бы я не была маленькой девочкой, я бы хотела, чтобы меня тоже звали Вольдемар Аркадьевич. Фамилия тоже была чудесной — Абрикосов. Только вслушайтесь: Вольдемар Аркадьевич Абрикосов! Это был очень старый высокий человек с орлиным профилем и седыми волосами. Еще у него была трость, на которую он опирался при ходьбе; не потому, что хромал, а для красоты. Ни за какие деньги вы не встретите сейчас такого Вольдемара Аркадьевича с тростью! Впрочем, и тогда он был один такой. Он был дворянин.

Мы ходили гулять в парк Маяковского. Была осень, под ногами шелестела листва. Сквозь облетающие деревья сквозило нежно-зеленое небо. Мама с Вольдемаром Аркадьевичем шла чуть впереди, я тащилась сзади, как Санчо Панса. До меня долетали обрывки тихого, неспешного разговора. Иногда они переходили на французский, которому мама уже научилась, а Вольдемар Аркадьевич вообще знал двенадцать языков и был переводчиком. Почему-то маму всегда привлекала именно литературная элита. «Вы моя лебединая песня!» — поэтично говорил поклонник. Это было очень красиво, я постаралась запомнить. Мама задумчиво глядела вдаль карими красивыми глазами. Ее лицо, как всегда, хранило буддийское спокойствие. На губах играла буддийская же полуулыбка. Вольдемар Аркадьевич говорил: «Я пожил, Елена Викторовна... Что говорить, пожил... Жизнь прошла как сон; а вы так молоды и прекрасны. Я много любил, и меня любили...»

Я старалась не шуршать листвой, чтобы не нарушить грустной гармонии монолога. И побольше расслышать. Вольдемар Аркадьевич рассказывал о поэтах Серебряного века, с которыми был лично знаком. С некоторыми он познакомился в лагерях. Создавалось впечатление, что лагеря были чем-то вроде маминного литературного салона. Там, должно быть, было очень интересно. «Не скрою, кое-что осталось у меня от прошлого как память. Некоторые милые сердцу безделушки. Вот эта золотая пчелка с топазом, — поклонник элегантно вынимал

из нагрудного кармана какую-то вещицу, которую я по близорукости не могла разглядеть. — Если бы вы согласились принять ее как память, как знак нашего духовного сродства»... Мама принять соглашалась. Они брели дальше, беседуя. Еще мама согласилась принять крошечный глобус из белого золота, совсем как настоящий, на тонкой цепочке. На глобусе были нарисованы континенты, а если покрутить глобусик, высовывался тонкий грифель! Им можно было писать! Среди безделушек, которые мама тоже согласилась принять, были золотые кошечка с мышкой, соединенные золотой же цепочкой. У мышки глазки были из рубинов, у кошечки — из изумрудов. Если быстро перебирать в руках цепочку, казалось, что кошечка, скользя, гонится за мышкой...

Гуляния продолжались долго, вплоть до зимы. Когда белый снежок скрыл уродство поздней осени своим покрывалом, мама согласилась принять пачку бумаг под названием «облигации». Ее лицо оставалось спокойным и прекрасным, снежинки падали на мамин палантин из чернобурки. Его мама согласилась принять от папы после очередной драки. Возможно, гуляния продолжались бы и дальше, но что-то такое случилось с Вольдемаром Аркадьевичем. То ли иссякли его ресурсы, которые придавали смысл и пикантность встречам, то ли он рассыпался в прах от древности, но он как-то исчез из маминой жизни. Рано или поздно из маминой жизни все исчезали. Она быстро уставала от общения.

Гуляния с Вольдемаром Аркадьевичем навевали на меня грустное, лирическое настроение. Сердце сжималось от поэтического томления, невысказанные слова распирали грудь. В глубине души я знала, что у меня никогда не будет такого прелестного Вольдемара Аркадьевича. Просто-таки твердо была в этом уверена. Хотелось высказать тайное чувство тоски и любви, так сказать, излить переполнявшее душу томление. Стихов и рассказов я тогда не писала, а сердце рыдало и томилось... У меня не было даже доступного музыкального инструмента, чтобы выразить свои чувства. Только детский ксилофон. Попробуйте выразить чувства с помощью детского ксилофона. На мамином рояле я играла исключительно плохо. Я решила в первый и последний раз на рискованный поступок. Я подошла к своему папе, занятому покраской ампул зеленой краской. Я тихонько обняла папу за мощный бицепс. Изумленный папа оторвался от ампул и внимательно посмотрел на меня сквозь очки.

— Ты моя лебединая песня... — смущаясь, произнесла я.

За сорок с лишним лет общения с папой это была единственная нежность, которую я себе позволила. «Телячья нежность», как определил тогда мой декаданс удивленный папа.

### Сачок

Однажды дедушка купил мне сачок. Меня следовало не только развивать физически и умственно, но и прививать любовь к коллекционированию, к изучению природы. Тем более что мы часто бывали на даче. Сачок был упоительным: ярко-желтый, из накрахмаленной марли, натянутой на проволочный обруч. Обруч крепился к гибкой деревянной палке. На сачке была этикетка: «Женская исправительно-трудовая колония № 2». Смысл надписи был неясен. Зато с сачком было все понятно. Я буду юный энтомолог. Буду коллекционировать насекомых и изучать их. Так сказал дедушка.

Я немедленно принялась размахивать сачком. Он с шумом прорезал воздух. Меня просто невозможно было оторвать от сачка. В переполненной электричке я тайно целилась на головы пассажиров. Демонстративно поднимала сачок почти до потолка. Махала им в воздухе. Совершала массу других манипуляций, чтобы привлечь внимание к моему сачку, ярко-желтому и абсолютно новому.

— Я поймаю бабочку, дедушка! — орала я на весь вагон, томясь от охотничьего азарта. — Я поймаю самую красивую бабочку! Я подарю ее маме! Я поймаю жука, дедушка! Помнишь, такого жука с зелеными крыльями! Тебе подарю! Я всех поймаю своим сачком! Я юный энтомолог!

Все два часа поездки были сущим адом для пассажиров, дедушки, мамы и для меня. Я громко и невоспитанно делилась своими планами поимки всех возможных насекомых. Все они предназначались для подношения маме, дедушке, папе, Андрею Коротаеву и многим другим знакомым. В конце концов, я нахлобучила сачок на лысую голову какого-то дяденьки, и сачок у меня временно отобрали, боясь, чтобы я не помешалась. Я была очень кроткой и жалостливой девочкой. Я отбирала у злых детей пауков-косиножек, которым маленькие садисты отрывали ножки, чтобы посмотреть, как они дрыгаются совершенно автономно от самого паука. Я запустила камнем в голову мальчишке, который обижал котенка. Я следила, чтобы другие дети не рвали цветочки в садике, потому что цветочкам тоже больно. Сачок превратил меня в кровожадного охотника.

Наконец мы приехали в деревню. Мама и дедушка отправились в огород, где у них было много дел, а меня с сачком отпустили гулять. Я просто-таки бросилась на улицу, близоруко оглядываясь в поисках жертвы. Какой-нибудь изумительной бабочки с радужными восхитительными крыльями. Или вот стрекозы, переливающейся перламутром... Было начало мая. Едва проклюнулась зеленая травка сквозь бурую, прошлогоднюю. Насекомых не было. Даже крошечной мухи, даже комарика — вообще никого. Буддийская пустота и тишина. Я бежала со своим желтым сачком, шурясь и вглядываясь в пространство, замирая, делая стойку, прицеливаясь, наводя сачок на воображаемую жертву... Мне просто необходимо было кого-нибудь поймать. Так я добежала до деревенского пруда. У берегов лед уже растаял. У кромки воды сидели огромные сизо-черные жабы, раздуваясь и курлыкая. Они были покрыты бородавками, сквозь раздувающееся в любовном томлении брюхо просвечивали внутренности. Жабы были медлительными и тяжелыми, как камни. Я накрыла сачком самую большую жабу и ловко перевернула его. Проволочный обруч согнулся под тяжестью добычи. Это была настоящая добыча! Не жалкая эфемерная бабочка или там стрекоза, о которой и говорить-то нечего. Тяжелая, шевелящаяся добыча была в моем сачке. Со всех ног я бросилась домой, обеими руками удерживая сачок с жабой в равновесии.

Мама накрывала на стол. На этот стол я и вывалила содержимое сачка, задыхаясь от восторга.

— Мама, это тебе! — успела выкрикнуть я прежде, чем закричала мама.

Черная лоснящаяся жаба на столе продолжала раздуваться и курлыкать. Ее глаза мудро сияли, как мамины драгоценные камни.

## Катарсис

Редактор Надя посоветовала мне завершить мои мемуары каким-то катарсисом. Я очень хорошо ее поняла. Когда люди понимают друг друга, слова вообще ничего не значат. Или почти ничего. Четырех лет от роду я часто испытывала катарсис. Только не знала, что это — именно он, а не что-то иное.

Для катарсиса были необходимы некоторые вещи, которых теперь у меня нет под рукой. Может быть, поэтому катарсис больше не посещает меня. Инсайты, иллюминации бывают, не спорю. А для катарсиса нужен маленький зеленый стульчик на алюминиевых ножках. Детский столик, такой фанерный. И диапроектор. Такой железенький агрегат, куда следует вставлять катушку с диафильмом. Теперь ни за какие деньги не найти, наверное, ни диапроектора, ни пленки с диафильмом... Пленка должна быть упакована в круглую пластмассовую баночку. Пленку следовало достать из баночки и вставить в одну из металлических деталей проектора, потом засунуть деталь в аппарат и медленно крутить черный пластмассовый шпунтик. На стене появлялись картинка с подписями. Такое маленькое индивидуальное кино. В комнате должно было быть достаточно темно, иначе картинка будет бледной. Если слишком долго смотреть диафильмы, пленка от лампочки внутри проектора начинала гореть и плавиться. Можно было посмотреть один-два диафильма, не больше.

Когда мамы с папой не было дома, было страшно и одиноко. Особенно зимой. Я приходила из садика, отпирала дверь ключом, висевшим на шее, и хотела плакать. Плакать было нехорошо. А главное — бессмысленно. Ведь все равно никто не услышал бы моего плача. И еще — плач был бы беспредметен. Библейские пророки Исайя и Иеремия, Иезекииль и еще какие-то плакали о стенах Иерусалима и о греховности народа израильского — то есть плакали вполне предметно, о чем-то и о ком-то. Их плач был сварлив и свиреп, он содержал в себе угрозу, мол, сейчас плачу я, а потом поплачете вы! Мой плач был хлипкий и неявственный. Абсолютно беспомощен. Противно.

Я доставала диапроектор и включала его в розетку. Внутри загоралась манящая лампочка. Диапроектор быстро нагревался, готовясь к работе. Из пластмассовой баночки я доставала всегда один и тот же диафильм. У меня было много пленок: про Урфина Джюса, про Синдбада-Морехода, про военную тайну... Но для катарсиса был нужен специальный диафильм. Он назывался «Заюшкина избушка». На стене возникали картинки из жизни Заюшки, который имел лубяную избушку. А лисичка имела избушку ледяную, которая, естественно, растаяла с наступлением весны. Лисичка вселилась к доброму и доверчивому Заюшке, а потом выгнала его из дому. Заюшка шел по лесу и плакал. На стене появлялось изображение понурого, сгорбленного Заюшки, приложившего передние лапки к мордочке. Он брел куда глаза глядят... На этой картинке я переставала видеть что-либо из-за крупных, обильных слез, которые градом катились по щекам. Одной рукой я поворачивала колесико проектора, а другой смахивала слезы на пол. На полу медленно образовывалась самая настоящая лужа. Плечи мои судорожно вздымались, я прерывисто вздыхала, слезы все падали на пол... Заюшке помог отважный Петушок, но все это уже не имело значения. Раскачиваясь, я проливали слезы о бедном, заброшенном и покинутом Заюшке. Обо всех заброшенных и покинутых заюшках. Это был целительный экзистенциальный плач, очищающий душу от всего преходящего и наносного. Потом я аккуратно выключала диапроектор, вынимала пленку с фильмом, укладывала ее в коробочку. Умылась, переодевалась в пижамку и, стараясь не наступить в лужу собственных слез, ложилась в кровать. Мне становилось намного легче.

...В жизни я много чего пережила. Как пел Вилли Токарев, меня и грабили, и просто не платили, и оскорбляли на английском языке... Я теряла близких людей и оказывалась в ужасных, иногда — опасных ситуациях. И никогда не плакала. Беспредметный, никому не слышимый плач отвратителен. Все обиды и утраты складываются у меня в груди. Для того чтобы плакать, как Иеремия, нужен врожденный талант. И свирепость. А мне нужен маленький зеленый стульчик, проектор и пленка с диафильмом «Заюшкина избушка». Без них катарсис невозможен. Инсайты, иллюминации — возможны. А катарсис — нет.

### **Дебилка Люба**

Люба не была дебилкой. Просто ее так звали во дворе в Царском селе, не слишком вдаваясь в тонкости медицинских диагнозов. Она была инвалидом с детства. Она почти не могла ходить; только опираясь на свою маму. На ногах у нее были надеты грубые ортопедические ботинки, на голове — легкомысленная розовая панамка. Она была вся скрючена и полураздавлена, как корень старинного дерева в Екатерининском парке. И темным цветом лица она походила на древесный корень. Глаза были яркие, бледно-голубые, яростные, как у берсерка. Хорошо, что Люба почти не могла ходить.

Люба была моей няней и компаньонкой. Когда бабушка Роза уходила на уроки в школу или на партсобрание, меня оставляли на скамеечке с Любой, чтобы она присматривала за мной. Я залезала на скамеечку, ноги в ботинках (не ортопедических) болтались над землей, и смиренно сидела с Любой. Она была ко мне привязана. Мы подолгу беседовали. Люба была косноязычной, плохо выговаривала слова, но речи ее были связны и полны смысла. Иногда она доставала изо



рта искусственные челюсти и стучала ими, чтобы меня повеселить, как каштаньятами. Она была очень темпераментной. Лет ей было около тридцати.

Летом Люба всегда сидела на скамейке, к ней привыкали, как к памятнику. Но других детей с ней не оставляли. Дети в ужасе убежали при виде Любы, так жутко она выглядела. А выглядеть она хотела хорошо: неверной кривой рукой она поправляла панамку, негнуцимися пальцами проводила пробор в коротких, как у солдата или зэка, волосах. Мы беседовали о Брежневе, американских президентах и эстрадных исполнителях. К ним Люба относилась очень критично. Она была вообще весьма критична. Ей не нравился Иосиф Кобзон, а про другого известного певца она невнятно, но презрительно говорила: «Прыгает... Трясет своими яйцами!..» Люба говорила, что Брежнев умрет и начнется война. Всех убьют. Есть будет нечего. Собственно говоря, так всем и надо. Пусть умрут все. Останемся только мы с Любой, ее мама, ее маленькая собачка — карликовый пинчер. Ну и, по моим слезным пожеланиям и мольбам, мои мама, папа и дедушка. На большее Люба не соглашалась. Особенно на бабушку. Синие губы на перекошенном лице растягивались в непередаваемо саркастичной улыбке. Беседовать было интересно и познавательно, если привыкнуть и начать разбираться в Любиной речи. Иногда она просила меня собирать камни. Я собирала горсточку небольших (сейчас вы поймете почему) камушков и присаживалась рядом с Любой. Она метко швыряла розовую панамку подальше от скамейки, когда мимо проходил какой-нибудь доверчивый мальчик. Их там много гуляло по Царскосельским дворам.

— Малчик! Малчик! Ты октябренок? У мэня упала панамка! — жалобно и требовательно гнула Люба, подмигивая мне бледно-голубым ярким глазом. — Помоги мне! Я несчастный инвалид, я нэ могу встать!

Добросердечный и глупый (эти качества часто сочетаются) мальчик преодолевал страх перед инвалидом и шел за панамкой. Обычно это были мальчики младшего школьного возраста, напичканные внушенной моралью. Более маленькие сразу убежали, простодушно и инстинктивно. Когда доброхот наклонялся за головным убором, ему в голову летел шквал камней, прицельно пущенных несчастным инвалидом. Швырялась Люба просто виртуозно, несмотря на скрюченные руки и негнуциеся пальцы, — сказывалась практика, ей ведь было ужасно много лет. Мальчик, визжа и воя, иногда — изрыгая оскорбления в адрес Любы, бежал, оглядываясь. Люба тряслась в искреннем хриплом смехе. Так смеются, пошутив со смертными, злые подземные боги. А может, никакие они и не злые, просто — подземные боги, скрюченные, как корни древних деревьев. Пошутили и смеются, как и положено подземным богам и духам, всяким там троллям и румпельштильцхенам... В сказках — ужасных сказках братьев Гримм — всегда придается особое значение юмору таких существ, их склонности к психологическим играм и тестам. Украдут у матери младенца и загадывают загадки. Или утащат путника на дно болота и щекочут до смерти.

Люба очень любила сказки. Она их знала очень много и рассказывала мне; но не саму сказку, которую я прекрасно знала и сама, а ее философский подтекст, смысл. Остроумие героя, которому удавалось кого-то победить или убить, вызывало приступ трясучего хохота, подмигиванье и кривую, со значением, улыбку. Особенно нравилось Любе рассказывать про три желания, которые можно было загадать.

— А ты бы, Люба, что загадала? — интересовалась я искренне. Я тайно полагала, что Люба загадала бы себе — стать нормальной. Здоровой. Ходить, как все. Даже бегать. Чтобы ничего у нее не болело: часто лицо Любы, и без того перекошенное, еще перекашивалось болевой судорогой, и она глухо говорила: «Болно. Болно мне»...

Люба добродушно оглядывала меня свирепыми глазами. За последующие годы я убедилась не раз, что можно добродушно оглядывать свирепыми глазами. Но, наверное, только меня.

— Я загадала бы, чтобы ты стала красавицей, — веско поясняла моя компаньонка. За малостью лет ничего обидного я в Любином желании не видела. —



Потом — чтобы ты стала принцессой, — это желание мне весьма нравилось. Очень щедро было со стороны Любы отдать два волшебных желания на благо своей маленькой воспитанницы. — И еще — дубинку из мешка. Помнишь сказку про дубинку? Я бы велела дубинке: «Бей их, дубинка! Бей их сильнее! Убей их!» Люба, горячась, бурно жестикулировала, махала жилистыми кривыми кулаками, колотила по воздуху: «Бей их, моя дубинка!..» Тогда я впервые задумалась о прошлой жизни. Свиристая и жестокая Люба явно не появилась ниоткуда на скамейке во дворе города Пушкина. Ее ярость где-то брала начало, где-то далеко во тьме веков, в каких-то доисторических кровавых битвах амалекитян с филистимлянами. И на голове у нее тогда была не розовая панамка, а бронзовый шлем. И ранения тех битв были так ужасны, что она и в этой жизни родилась раненой... «Бей их, моя дубинка! Никого не щадя, ни женщин, ни детей, ни октябрят, ни пионеров! Поджигай башню! Лей смолу! Убивайте всех, пленных не берем! Болно мне, болно»...

Вечерело. Мы все сидели на скамейке под цветущими деревьями, Люба — в ортопедических грубых ботинках, похожих на солдатские, с солдатской стрижкой. И я, в маленьких белых ботиночках и вязаном костюмчике. Мне его связала бабушка Роза, бывшая сотрудница СМЕРШа. Легкомысленно голубенький костюмчик бабушка украсила нашитыми велосипедными подшипниками и начищенными гильзами с полигона, где полковник дедушка Ваня учил солдат стрелять.

### **Пляжный отдых**

В детстве я очень любила купаться. Просто чрезвычайно. В сухопутном Свердловске мест для купания не было, а посещать общественные пляжи где-нибудь у Верх-Исетского завода мама отказывалась. Она лично ездила купаться в Сочи. Вернее, летала. Иногда даже без папы. А один раз с папиным коллегой доктором Зарембой, другом семьи. Почему мама улетела на юг с доктором Зарембой — осталось тайной, одной из нераскрытых тайн нашей семьи. Возможно, на доктора возлагались функции телохранителя мамы. Возможно, он должен был за мамой присматривать. Присматривать за мамой было совершенно невозможно, как и за папой. Я пробовала, у меня ничего не получалось. Папа вылетел за мамой позже, потому что произошла вполне закономерная вещь — доктор Заремба прямо под жарким южным солнцем сошел с ума. В прямом смысле слова впал в буйное помешательство. Ему стало казаться, что моя мама состоит в сговоре с цыганами, которые воздействуют на доктора при помощи космических лучей. Заметьте, не при помощи дремучего колдовства, а вполне современными методами.

Заремба сошел с ума очень кстати, потому что обратных билетов на самолет не было, а маме с папой дали билеты как врачам, сопровождающим ненормального Зарембу. Для транспортировки в клинику по месту жительства. Папа с мамой еще недельку отдохнули, позагорали, поплавали, совершенно игнорируя странное поведение и упреки коллеги. Тем более они сняли ему комнатку где-то на окраине кладбища, чтобы он не очень докучал своим сумасшествием и постоянными обвинениями. Осталась чудом сохранившаяся фотография, на которой папа в очках, с лысиной, с мощной фигурой культуриста обнимает за талию красивую маму в купальнике-бикини и умопомрачительной панаме. Сбоку стоит унылый доктор Заремба, с укоризной глядя на маму. Это их снял какой-то пляжный фотограф.

С приездом папы на юг буйное помешательство доктора перешло в мирную форму, потому что папе не нравились крики и прыжки сошедшего с ума друга семьи. На фотографии хорошо видно, насколько папа крупнее и спортивнее тщедушного коллеги. И очки его достигают кончика носа. Этот сигнал доктор прекрасно понимал.

Загоревшие и отдохнувшие папа и мама сопроводили друга семьи в клинику. В сумасшедшем доме его хорошо знали, он там подрабатывал в отделении

для психохроников. Доктор вылечился и вновь приступил к своим обязанностям участкового психиатра. Это с ним был острый психоз из-за перемены климата и переутомления. Так говорил доктор Заремба, продолжая навещать моих родителей. Он только смущенно улыбался, когда остроумными шутками и артистичной, слегка утрированной игрой папа напоминал ему о происшедшем. «Даже не знаю, как со мной могло такое приключиться!» — разводил руками в недоумении бывший сумасшедший. Я подслушивала разговоры и прекрасно понимала, из-за чего доктор сошел с ума. Я предусмотрительно летом ездила с бабушкой Витей на дачу или вот в Пушкин к бабушке Розе и дедушке Ване. Отдыхать с родителями я боялась. Мне не хотелось оказаться в сумасшедшем доме, куда меня доставили бы на самолете в шапочке из фольги. Фольга отражала космические импульсы, посылаемые цыганами. Руководила цыганами, как вы помните, моя мама.

## Пляжный отдых-2

Купаться я очень любила. Я сидела в воде буквально до посинения, игнорируя призывы взрослых выйти на берег, хотя в остальном была очень послушной. Возможно, вода напоминала мне о тех временах, когда я безмятежно покоилась в околоплодной жидкости, не узнав как следует маму и папу. Не познакомившись с ними поближе. Я мечтала о том, как стану взрослой. Приду на пляж. Залезу в воду и буду сидеть там сколько захочу. Хоть до утра. И никто не будет кричать хриплым и громким голосом, как бабушка Роза:

— Внученька, выходи из воды! Немедленно выходи!

А бабушка Роза кричала, да еще как. Окружающие вздрагивали и боялись встретиться с ней взглядом. Потому что бабушка стояла на пляже во весь рост, монументально, как памятник «Родина-мать». Как и следовало из правил социалистического реализма, бабушка была обнажена. В смысле, она была совершенно голая. Ее мощная, крепкая фигура возвышалась над жалкими отдыхающими на берегу реки Колонички. Река называлась так потому, что раньше на живописных берегах жили немцы-колонисты. А сейчас отдыхали мы с бабушкой.

Бабушка была сторонницей здоровых привычек. В ее мире все было понятно. Плохими были фашисты, бациллы и их носители — больные люди. Их следовало уничтожать. Или, по крайней мере, соблюдать меры предосторожности, чтобы не оставить врагам ни единого шанса напасть. Сидеть на пляже в мокром купальнике могли только идиоты или тайные агенты бацилл. Ехать на пляж в купальнике из синтетики под одеждой тоже было неприемлемо. Кабинок для переодевания на пляже не было, только кустики, где грязные бациллоносители не только переодевались, но и справляли естественные надобности. Бабушка раскладывала на песочке покрывало. На покрывало выкладывала стерильное, прокипяченное полотенце. На полотенце — белоснежную марлю. Не спеша раздевалась. Снимала одну за другой свои одежды, расстегивала лифчик, стягивала панталоны. Все вещи аккуратно складывались горкой, так, чтобы белье оказывалось сверху, под дезинфицирующими лучами солнца. А раздетая бабушка хлопывала себя руками по крепким бокам, нравоучительно поясняя мне:

— Перед тем как идти в воду, внученька, надо остыть.

Пока бабушка переодевала купальник, я уже успевала добежать до воды, натянув купальные трусики, стыдливо корчась под полотенцем. Моя стеснительность вызывала бабушкино раздражение. «Здоровье дороже!» — так говорила она, оглядывая потупившихся соседей по пляжу. Потом широкими, уверенными шагами, уже в купальнике и специальной резиновой шапочке, бабушка шла к воде. Мощными гребками доплывала до противоположного берега. Возвращалась. Переодевалась тем же манером. И хрипло, громко звала меня, как Терешечку:

— Внученька, выходи из воды!

Счастье купания было коротким и эфемерным, как и положено счастью. Сложив мокрые, пропитанные кишащей бациллами водой купальные принад-

лежности в сумку, мы ехали домой делать дезинфекцию. За хорошее поведение бабушка разрешала помочь ей на кухне. Она прекрасно готовила. Особенно пирожки с капустой. Капусту для пирожков бабушка ловко рубила отличным ножом с деревянной ручкой, на которой было написано «Завод имени Калинина. 1942». Это был ее личный парашютно-десантный нож.

### Убийца Коган

Хотя бабушка Роза преподавала литературу и русский язык, она никогда не рассказывала мне сказок. Она рассказывала истории, правдивые и искренние. Эти истории производили на меня большое впечатление. Очень большое, потому что однажды, после прослушивания историй, у меня стала дергаться голова и началась сильная икота. Лечить икоту следовало народным средством — испугом. Выбивать клин клином. Бабушка спряталась в кладовке и неожиданно выскочила оттуда с хриплым криком. Икота и правда прошла.

Истории были одинаковые, но, в сущности, набор историй в мире ограничен. Буквально три-четыре сюжета кочуют из эпоса в эпос. Гильгамеш и Энкиду. Иокаста, Лай и сын их Эдип с выколотыми глазами. Все дело в выразительных средствах, в языке и способности рассказчика передавать эмоции. Это бабушке очень удавалось. Некоторые истории относились к жизни семьи. Например, моего прапрадедушку Каэтана забили до смерти в ЧК. То есть умер он у себя дома, потому что в ЧК никого не выдал. Его, избитого, бросили на пороге избы, и он умер. Детали опускались: кого мог выдать прапрадедушка Каэтан, кавалер двух Георгиевских крестов? Брата прапрадедушки красные сбросили с баржи в реку Амур, предварительно привязав ему жернов на шею. Прадедушку Максима в тридцатые хотели арестовать, но бабушка Роза полгода скрывала его у себя в общежитии под кроватью. Она тогда училась в педагогическом институте. Диплом об окончании института бабушка подарила своей сестре Катержине, которую учиться не взяли — она ведь была из семьи беглого преступника. Букву «Р» бабушка Роза аккуратно переправила на «К». Потом прадедушку не стали мучить, а сделали директором колхоза. У них там вышла небольшая ошибка. Я поняла, что миром правит Хаос. Никакого порядка и закономерности нет. Захотят — будешь полгода жить под кроватью. Захотят — бросят тебя с жерновом на шею в мутные воды Исети. Захотят — станешь директором колхоза... Кто — захотят? А вот эти самые мойры или парки, богини судьбы, которых боялись сами греческие боги, про которых я прочитала в толстой книге «Мифы Древней Греции». Детских книг у бабушки, конечно, не было.

Самой популярной историей была история про бабушкиного ученика Когана. Это была даже не история, а повествование онлайн, так сказать. Прямая трансляция. Коган когда-то был учеником бабушки. Он стал вором и преступником. Почти постоянно он сидел в тюрьме. Когда выходил, жил на первом этаже в том же подъезде, что и бабушка. Когда сидел, писал бабушке из тюрьмы письма. Их связывали странные, сюрреалистические отношения. В письмах Коган делал много ошибок. Например, писал: «Пришлите мне попиросы». Бабушка читала мне письма вслух, потешаясь над ошибками. Потом исправляла их красной ручкой и отправляла обратно с короткой нравоучительной припиской. Вредные «попиросы» она, конечно, не посылала. В письмах Коган высказывал сожаление, что не слушал бабушку, когда она в пятом классе учила его уму-разуму. Бабушка шумно вздыхала и кивала головой, читая мне покаянные фразы бывшего ученика. Из писем было понятно, что Коган о бабушке очень скучал. Она еще в пятом классе поразила его воображение. Может быть, он и стал преступником, чтобы поразить воображение бабушки. Но, как говорила Черная Герцогиня, видала я такие холмы, по сравнению с которыми эти — просто равнина...

Однажды бабушка захлопнула в квартире дверь и позабыла ключи. Услужливый и преданный Коган как раз был на свободе. Бабушка приказала ему залезть в квартиру через окно. Носатый верткий Коган с исключительной ловкостью и

риском для жизни залез на пятый этаж по ржавой водосточной трубе. Внизу стояла толпа молчаливых соседей. Мы с бабушкой торопливо поднялись в квартиру, где бабушка заставила Когана вывернуть карманы. «Никогда не бери чужого, Коган, — хрипло наставляла бывшего ученика бабушка, — брат чужое — нехорошо!» Коган выворачивал карманы, преданно глядя на учительницу. На его худых пальцах синели выколотые перстни. Бабушкины, золотые, были надежно спрятаны в сейфе вместе с наградным пистолетом.

Бабушка сделала выводы. Раз Коган быстро и легко залез по трубе в квартиру, он может проделать это самостоятельно, без приказа, повинуюсь преступным наклонностям. И убить нас. Никак не меньше. Зачем ему свидетели? Нож он будет держать в зубах, чтобы не мешал цепляться за трубу. Все эти соображения бабушка высказывала мне, продолжая проверять тетради учеников, ровным хриплым голосом. Мирная жизнь бабушки, чуть оживляемая борьбой с бактериями (ученики давно были усмирены), обрела новый смысл. Под видом вечерней прогулки мы следили за Коганом, который подозрительно курил на лавочке у подъезда. Следовало делать беспечный вид. Это было очень трудно, поскольку убийца просто-таки видел нас насквозь. Он смотрел на нас со значением и со значением здоровался. Так говорила бабушка. Он спрашивал про здоровье. Понятно зачем. Хотел узнать, есть ли у нас силы сопротивляться нападению. Интересовался, как спалось. Это вообще было ясно. Хотел узнать, крепко ли мы спим, чтобы резать нас сонных, без помех и воплей. Это мне объяснила бабушка. Я перестала спать вообще, трясясь от ужаса на тахте, близоруко вглядываясь в окно, за которым должен был появиться Коган с ножом в зубах. К моему изумлению, бабушка с дедушкой мирно храпели в спальне. Только я, маленький бессонный часовой, бодрствовала, спасая жизнь семьи и свою собственную. Чтобы не поддаться дремоте, при бледном свете белых ночей я перелистывала толстый том «Мифов Древней Греции», в котором одна история была ужаснее другой.

### **Мои мемуары**

Когда мне было четыре года, я очень хотела научиться писать. Не выводить печатные буквы, когда «Я» и «Р» вечно получались перевернутыми, зеркальными, а писать связно, литературно. Писать мне было просто необходимо, вернее, записать что-то очень важное, пока я не забыла. То, что я могу забыть это важное, я прекрасно понимала — воспоминания теряли яркость, смешивались с фантазиями и событиями настоящего. Читать я научилась сама, очень рано, благодаря транспарантам на улицах и газетным заголовкам. С писанием дела шли гораздо медленнее. Фразы получались короткими и корявыми. А написать надо было очень много. Это было исключительно важно. Вернувшись из садика, я садилась за свой столик и доставала бумагу. Брала ручку. Начинала писать. Через некоторое время от бесплодных усилий слезы начинали градом падать на страницу. Ничего мучительнее в жизни со мной не происходило. Наверное, так мучились первые писатели, в чьем распоряжении было три-четыре простых иероглифа, с помощью которых следовало выразить важные и сложные вещи. А вместо этого на бересте или камне появлялись нелепые рисунки мальчика Онфима: человечек, домик, лошадка... То, что мне следовало написать, ускользало и таяло. Только теперь я могу связно и литературно написать наконец то, что пыталась года в четыре. Но память уже исчерпалась, и воспоминания стали воспоминаниями о воспоминании.

Я жила в большом доме. Я его называла «дворец», но это был просто большой дом с парком. Или — с садом. Многих слов и понятий я просто не знала. Так, дикарь, описывая пищущую машинку, говорит о годах на твердых стеблях, сок которых оставляет следы на листьях белой пальмы. У меня были длинные светлые волосы, которые все время выбивались из прически и падали на шею и вдоль висков (видите, как сложно — «выбивались из прически», это только теперь я могу так написать). У меня было длинное платье. Я была женщина,

взрослая женщина. Как моя мама. В одной из комнат «дворца» был спрятан раненый человек. Ему надо было давать пить и делать перевязку. Рана была в боку. Перевязка делалась не при помощи бинтов, а чистыми тряпками. Раненый кричал во сне, это было опасно — в сад заходили другие люди в военной форме и искали его. Я почти всегда молчала и подолгу глядела в окно на заброшенный сад. Всегда была осень и шел дождь. В стекле отражалось смутно мое лицо: худое, бледное, печальное. Люди вокруг воевали и убивали друг друга. Мне было тягостно и грустно, потому что я знала очень много, но ничего не могла поделать. В моей комнате висели картины и стоял рояль, а пол был слегка накренившимся, слегка под углом. Я ясно и четко помнила все детали обстановки, в которой жила. И лицо раненого: смуглое, с морщинкой между бровями. И его ботинки, спрятанные под кроватью. Такие, на шнуровке, грубые военные ботинки. Но я совершенно не помнила свое имя и язык, на котором мы говорили. На скудном детском языке я могла только корябать: «Когда я была царицей»... Разумеется, никакой царицей я не была, так же как и дом не был дворцом. Просто я не знала слов для описания происходившего. История не имела ни начала, ни конца. Собственно, это была не история, а яркие фотографические картины памяти, которая почему-то не стерлась, как положено, при переправе через Лету.

Написав несколько катящихся вниз строк, я тяжело вздохнула и подходила к окну. И здесь была осень. А в стекле отражалось детское круглое лицо с большими карими глазами. Оно казалось мне странно чужим. Я к нему не успела привыкнуть за четыре года. Я чувствовала и мыслила, как взрослая женщина, а маленькой девочкой мне приходилось быть поневоле. Воспоминания утешали меня и давали силы притворяться маленькой девочкой и дальше, чтобы все шло своим чередом: драки и примирения родителей, поездки к дедушке, садик, дебилка Люба, Зуева, убийца Коган и вся эта мучительная жизнь. К одиночеству я привыкла очень давно. На самом деле, видимо, очень давно. И из всех прекрасных вещей, утраченных, потерянных, отданных, украденных, забытых, мне жаль только фарфоровых часов с ангелочками. Они стояли в моей комнате на рояле, на белой кружевной салфетке, там, во «дворце», когда я была взрослой.